

Михаил
ПОПОВ

ВСТАВАЙТЕ, ЭРЦГЕРЦОГ!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

– Если вдуматься, Василий Васильевич, у вас еще более неправильное представление о будущем, чем у Зои Вечеславовны.

Евгений Сергеевич достал папиросу из коробка, оставленного на столе женою, и закурил, причем сделал это умело. В его пальцах таилась ловкость старого курильщика.

Антон Николаевич, отец Варсонофий и Саша ждали с интересом, каким образом профессор станет развивать тему. Ждал и генерал – в предвкушении того, как его антагонист будет терять свою научную репутацию на столь сомнительных путях, как рассуждения о природе времени.

– Мало того, что оно неправильное, оно еще одновременно и дикарское, детское. Только, извините, дикарь может с такой полнотой убеждения поклоняться такому примитивному идолу, как абсолютная непроницаемость будущего. И только ребенок может пребывать в полной безмятежности в связи с наличием такой веры. Не надо так торопливо краснеть, генерал. Ни в малейшей степени я не хочу вас оскорбить. И даже не мщу за ваши иронические нападки на Зою Вечеславовну. Она и так, без моего вмешательства, осталась выше ваших нападков, хотя и слегка нездорова, по-моему.

– Отчего же вы так настойчиво и определенно относитесь именно в мой адрес, герр профессор?

– Потому что вы – фигура, в наибольшей степени выражающая некую идею. Идею непроницаемости будущего. Скажем, наш уважаемый батюшка не годится на эту роль уже потому лишь, что принадлежит к организации, верховное учение которой безусловно отрицает эту непроницаемость. Не ходя далеко, можно указать хоть на «Откровение Иоанна Богослова», текст, в котором будущее описано весьма подробно. Правда, и невнятно. Прошу прощения, отец Варсонофий, ежели задел вас или Священное писание.

– Бог с вами, говорите что хотите, – усмехнулся батюшка, – ваше безбожие не моим осуждением будет наказано.

Евгений Сергеевич совершенно серьезно поклонился ему.

– Что касается нашего молодого друга...

Саша, как всегда при обращении общего внимания на его персону, покраснел.



– ...то он по складу ума человек ищущий, и для него в принципе не заказаны никакие интеллектуальные пути. Хотя бы они и вели в самое будущее.

– Что же вы скажете обо мне? – спросили пунцовые губы.

– Я вас недостаточно знаю, господин Бобровников, для того, чтобы предположить господину генералу.

– Что ж, – Василий Васильевич плеснул себе мадеры, – пока мне нечего возразить. Но пора переходить к сути.

– Извольте! – Профессор поправил галстук и медленно погладил мертвенного цвета щеку. – Но, как вы, наверное, догадываетесь, разговор о будущем надобно начинать с разговора о прошлом. Что касается будущего, все мы примерно в равной степени уверены, что оно наступит, в отношении же прошлого среди людей большее разнообразие мнений и чувств. Прошлое для нас более недоступно, чем будущее. Нам оно явлено в виде какой-то свалки старых книг, жутко искалеченных или бездарно помпезных статуй, осыпающихся картин и особенного племени существ – стариков. Эти конные статуи стоят так, будто громадное чудо и честь – умереть. Но Бог с ним; слишком многие люди слишком много изучают то, чего, собственно, нет. Не будем присоединяться к безумцам и обманщикам, заставившим государство оплачивать их труд и считать их фантазии о несуществующем наукой.

Сидящие за столом удивленно переглядывались.

– Поговорим о том, к чему имеем личное отношение. К той части времени, в которой жили сами, лично. Наша память свидетельствует – жили. Для невнимательного или бездарно-благоговейно настроенного ума оно, время, сохраненное в памяти, – нечто непрерывное и неуклонно последовательное. Но если всмотреться в начальный кусок частного, например, моего хроноса, начинаешь сомневаться в этом. Доказательствами того, что человек жил, служат смехотворнейшие вещи: фотографические снимки и рассказы родственников. О том, насколько вторые надежны, мы скоро поговорим.

То, что принято называть сознанием, возникает в качестве «череды ярких вспышек», меж которыми лежат серые пустоты. Поскольку объяснить природу этих пустот немислимо, вспышки эти от страха слипаются в нашем воспоминании. Необходимо немалое умственное усилие, чтобы разлепить их и на время рассматривания хотя бы развести по соответствующим местам календаря.

Кстати, существует некий инстинкт, заставляющий людей утверждать, что они помнят себя с невероятно раннего возраста, с трех месяцев, как граф Толстой. В этом вранье содержится тот же род бравады, что и в мальчишеском желании убедить приятелей, что первая женщина была познана им чуть ли не в младенчестве. Это все наивные попытки раздвинуть границы столь ограниченной жизни.

Генерал неловким движением повалил рюмку, но профессора это не сбilo.

– Но рано или поздно наступает такой момент, от которого идет сплошная память. То есть возникает странная, ничем, даже субъективным чем-нибудь не подтверждаемая уверенность, что с такого, скажем, числа я сознательно проживал каждый день и час. Возникновение этой уверенности – одна из загадок, разгадка коих приближает к тайне личности, но которые разгаданы не будут. Может быть, с этого момента «приходящая» душа поселяется в данном теле постоянно.

Но нельзя отрицать, что под микроскопом непредвзятого внимания становится очевидным, что и эта часть памяти пятниста. Состоит она из конечного количе-

ства разных по размерам, интенсивности и глубине фрагментов. Мы не отыщем ничего, что доказывало бы непрерывное, последовательное сцепление секунд, минут, часов и дней.

Вам знаком, безусловно, эффект вечеров совместного воспоминания. Скажем, встреча друзей после долгой разлуки спустя ряд лет после окончания гимназии. Вы же ловили себя на том, что три четверти «общих воспоминаний» общими отнюдь не являются. Вы рассказываете, как дрались вместе со своим другом против четверых хулиганов в городском саду и как вы заслонили вашего друга, когда тот был сбит с ног. И вдруг выясняется, что в его памяти это вы валялись на земле, а он героически вас прикрывал.

– Вы обещали что-то рассказать о родственных воспоминаниях, – сказал генерал.

– Ах это, – профессор хмыкнул. – Родственники всегда вспоминают о своих брюках и платьях, обмоченных вами в щенячьем возрасте. Родственники – это фантазирующие чудища, специализирующиеся на воспоминании того, в несуществовании чего вы тайно, но безусловно уверены. Причем фантазии эти вы по этикету должны приветствовать и даже быть за них благодарными.

– Теперь можно переходить и к будущему, – отчасти провокаторским тоном заметил отец Варсонофий.

– Извольте. – Профессор нахмурился. – Для начала замечу, что о будущем нам известно больше, чем мы привыкли думать. И вообще известного больше, чем неизвестного. Положим, что лет через пятьдесят, когда вашего покорного слуги не будет на свете (этот факт можно считать вполне известным), солнце все так же будет всходить на востоке, а садиться на западе. Год будет равняться тремстам шестидесяти пяти дням. Сила тяготения на поверхности планеты – девяти и восьми десятым «ж». Великая русская река Волга будет впадать в Каспийское море. Поверхность Евразии будет покрыта лесами, горами и пустынями. Может, только лесов станет немного меньше, чем сейчас, а пустынь побольше. Женщины будут любить мужчин, рожать от них детей и кормить этих детей грудью. В пищу повсеместно будут употребляться хлеб, мясо, молоко и вино. В ходу будут немецкий, английский, испанский, русский языки. Кроме того, китайский, японский и урду. По-прежнему будут издаваться и читаться книги Шекспира, Гете и Сервантеса и даже графа Толстого. Как вы, наверное, уже догадались, продолжать в том же духе я мог бы бесконечно, но пощажу ваше время (извините за каламбур). Так вот, при таком количестве известного – что же останется неизвестным? То, например, выйдут ли из моды шляпки такого-то фасона и от какой именно болезни и в какой момент времени умрет, например, петербургский профессор Корженевский? То есть из того ничтожнейшего факта, что мне неизвестно, какие из моих статей будут забыты прежде, а какие позже, я должен выступить на защиту сумасшедшего и ничем не доказуемого утверждения, что будущее непознаваемо?!

– Парадоксально, но несколько кокетливо, герр профессор.

– Почему же кокетливо, – тихо заметил Саша, – мне так не показалось.

Генерал надменно покосился в сторону студента, но не успел ничего возразить, рассуждение профессора продолжилось.

– Но должен честно заметить, что, несмотря на громадные успехи наук, мы еще слишком далеки от разгадки. Дело отчасти в устройстве человека как такового. Огромному большинству из нас много интереснее муравьиные обстоятельства

личной судьбы, чем география материков будущего. Личный финал и все, что с ним связано, вызывает жгучий интерес, а объективная картина конца миров – почти скуку. Капля внутренней боли актуальнее океана истины. Но здесь смешно протестовать, это все равно, как если бы вода сделалась недовольна своей текучестью.

– Сие верно, – подал голос батюшка, протягивая руку за мадерою, – природа человека неизменна, ибо неизменен образ, с коего он сваян. Изменение природы человеческой и будет сигналом конца света.

Евгений Сергеевич поднял соглашающуюся руку.

– Но оставим пока теософию, поговорим о более мирских, хотя и весьма сложных вещах. За проблемой непознаваемости будущего лежит нечто более фундаментальное – проблема времени. Одна из самых главных и самых темных. Древние персы поставили время – Зерва выше своего Ахурамазды. А боги Олимпа так и вообще смертны, и нигде не отмечено, что они пытались протестовать по этому поводу. Но, как я уже заметил, оставим это. Не будем говорить о времени как о Боге, поговорим о нем как о механизме. Не важно, кто его запустил, но интересно, как он действует. Хотя бы в той части, что постижима нашим умом. На мой взгляд, мысль человеческая доселе погрязает в одной страшной ошибке. Априорно считается, что природа времени однородна. И впрямую, жестко связана с физической природой мира. Говоря упрощенно, мы привыкли считать, что время равномерно течет сквозь предметы, и это протекание несет в себе изменение предметов, старение их. Сквозь все предметы, сквозь все вещества. Знаете, что даже, скажем, углерод может постареть. Вселенная сейчас состоит из углерода, не идентичного тому, что был миллиард лет назад.

Профессор потянулся к коробку с папиросами, но коробок оказался пуст.

– Но сказано же – есть нескудеющая сила, есть и нетленная красота, – со следовательской объективностью напомнил Бобровников.

– Да, да, – вяло кивнул профессор, – я вам процитирую еще пять коробов таких идеалистических мечтаний, а батюшка напомнит, что имеется где-то и Царствие Небесное, основная привилегия жителей которого – не подвергаться действию времени.

– «Уверовавший в меня не вкусит смерти».

– Спасибо, батюшка. Но мы условились гулять вне богословских рощ, как бы они ни были цветущи и плодоносны. Останемся в жалкой пустыне нашего несовершенного мира. А мысль моя такова: природа того, о чем мы беседуем, неоднородна. По меньшей мере она двусоставная. Часть времени, его наиболее грубая, плотная, энергичная, витальная, если так можно выразиться, часть течет сквозь толщу физического мира, пронизывая все его плотности и сложности. Другая часть – я еще не придумал для нее названия – находится как бы не при деле, не участвует в общих работах по состариванию мира. Шляется неведомыми путями, валяет метафизического дурака.

– Зело, – сказал отец Варсонофий и чокнулся с генералом.

– Но что, – спросил полицейский чин, – навело вас на такие размышления и позволило сделать такие фраппирующие выводы? Должны же вы были от чего-то отталкиваться.

Профессор вздохнул.

– На фактах, в вашем понимании этого слова, держится наука прикладная. Ведь что есть критерий научный? Это опыт. То есть имеющим место, существующим

признается только то, что можно воспроизвести хотя бы два раза. А вот вас, уважаемый Антон Николаевич, можно сделать во второй раз? Одним словом, если применить к вам требования современной науки, легко доказать, что вас просто-напросто нет.

– Опять парадокс! – недовольно отозвался генерал. – То есть вся наука глупа, вся и насквозь. Вот и приехали.

Профессор начал догадываться, что его высокоумные вещи воспринимаются слушателями все менее серьезно, и, чтобы не превратиться в посмешище, он решил сам придать беседе юмористическое наклонение. Что ж, заветная мысль так же неуместна среди публики, как нагота. Между тем явилась бесшумная Настя и наклонилась к уху батюшки.

– Тихону Петровичу стало хуже, господа. Я оставлю вас, – сказал тот.

Господин Бобровников уловил профессорскую иронию и принял ее на свой счет. Несмотря на это он продолжил приступать к нему с вопросами.

– Прошу прощения, Евгений Сергеевич, но мне кажется, вы не dokonчили вашу мысль.

– Вы думаете? – Профессор пожал плечами.

– Конечно. Я был убежден, что вы намерены свести вместе две линии, наметившиеся в вашем рассуждении.

– Чувствуется в ваших приемах большая процессуальная практика.

– Пусть так, но, прошу вас, не отрицайте, что вы собирались перебросить мостик от предсказаний Зои Вечеславовны к вашим описаниям механизма времени. Вам просто помешали.

Генерал, просидевший большую часть разговора в обществе какой-то своей частной тоски, вдруг встал и молча удалился. Судя по всему, в направлении своего флигеля. Тем самым расчищая поле для спора. Евгений Сергеевич вздохнул вслед ему и некоторое время разглядывал сеющийся дождь, ежась в объятиях пледа.

– Просто мне расхотелось, Антон Николаевич. Почувствовал в какой-то момент, что почти полностью покинул твердую почву и отдаюсь во власть волнам слишком уж необязательного фантазирования. Роль седовласого безумца, сыплющего поэтическими пророчествами по любому поводу, – это не для меня. Нынче у нас таких пол-Петербурга.

– Но все же! – В голосе следователя появилась испуганная настойчивость, знаменитость явно срывалась с крючка. – У вас было какое-то объяснение слов вашей супруги. Вы отнюдь не показали, что считаете их абсолютной выдумкой.

– Вы правы, не считаю, хотя, казалось бы, должен. Более того, убежден: многое из того, что она говорила, сбудется. Объяснение, какого вы так домогаетесь, расплывчато, никак и ничем не доказуемо и в высшей степени не научно. Но – извольте. Придется нам на некоторое время вернуться к нашему прежнему предмету. К времени. Слишком многообразный предмет, поэтому коснусь только тех сторон, что имеют прямое отношение к нашему разговору. У большинства людей о нем, о времени, примитивное календарное представление. То есть всякий будущий год мыслится как некая граница, абсолютно гладкая и перпендикулярная нашему движению вперед. Мир равномерно ползет в будущее, и тридцать первого декабря в ноль-ноль часов и минут он полностью со всеми своими людьми, странами, машинами, звездами, с каждой песчинкой, травинкой, с каждым кро-

хотным чувствием в этот год въезжает. Одновременно! Это и есть заблуждение. Распространенность и живучесть его колоссальны. Знаете, почему?

– Знаю, – храбро ответил следователь, – это заблуждение упрощает жизнь.

Профессор несколько замедленно, но поощрительно кивнул. И посмотрел на третьего участника беседы – Саша молча сверкал глазами за самоваром.

– Примерно так, молодой человек, примерно так. Я же утверждаю, что стена эта не так ровна, как кажется. Да что там! Она вообще отсутствует. Ее нет границы. Будущее не ждет, как пустой, идеально выметенный сарай, кареты нашего сегодняшнего мира. Будущее уже происходит, хотя нас там нет пока. Оно кипит, взрывается, орет и стонет. Мы накатываемся на него, вызывая в нем ужас предчувствий и тошнотворных ожиданий вперемешку с глупыми мечтами и жадными надеждами. В силу же того, что это процесс бурный, нестройный, от него летят случайные раскаленные капли, пылающие ошметки. Летят во все стороны. И вперед, и назад! Назад, молодой человек! Сотнями, а может, и сотнями тысяч этих плевков осыпаны наши бедные мозги. Вблизи времен, чреватых выплесками больших страстей, – а ближайшее будущее надлежит отнести именно к таковым, – град сей становится гуще. Большое количество людей подвергается воздействию этих невидимых жестов будущего. Одни ощущают неопределенное томление, тоску, другие способны превратить эти случайные сумбурные сигналы в понятные символы. Я склонен думать, что Зоя Вечеславовна принадлежит к числу подобных людей. Если хотите, она современная Кассандра.

В наступившем молчании на первый план выступил шум дождя. Но царил недолго. Профессор был не в силах остановиться.

– Но если сказать честно, у меня нет никакого способа хотя бы в ничтожной степени подтвердить ее предсказания научным образом. Взять хотя бы эту историю с милейшим Афанасием Ивановичем. Зоя Вечеславовна убеждена в правоте своих слов на его счет. Она уверена, что его зарежут через четыре года тут, в Столешине. Я ей пробовал объяснить, что это маловероятно, хотя бы потому, что Афанасий Иванович крайне редко бывает в имении, живет за границей большей частью. Или в Москве. Никакого реального отношения к здешним делам у него нет. Ведь он не Столешин, а Понизовский, всего лишь родственник Марьи Андреевны. С какой стати ему торчать здесь, особенно ввиду подобного предсказания! Да он нарочно проведет весь восемнадцатый год где-нибудь на водах. Она же мне отвечает: не знаю почему, но зарежут его именно здесь, в «розовой гостиной», и зарежут именно крестьяне. Именно Фрол Бажов. Вот такова ситуация.

Профессор неопределенно и неприятно усмехнулся.

– Все факты и разумные доводы против ее предсказания, но какие-то чувства сигнализируют мне, что тем не менее все может быть. Ведь будущее уже здесь. Зде-сь. Может быть, прячется за тою занавеской или в листе мокрой яблони. Просунуло сюда свои щупальца и орудует. Глядите – самовар! Казалось бы, нет ничего проще, даже глупее. Обычный никелированный самовар. Поверхность гладкая и отражает то, что и положено, – нас с вами, Антон Николаевич. А на той стороне, что нам не видна, может быть, сию секунду корчатся какие-нибудь невиданные рожи и хохочут над нами, глупцами. Говорите, мол, говорите, мы-то ведь уже знаем, как именно вы будете пожраны.

– Здесь ничего нет, – тихо сказал Саша, сидевший с той стороны самовара.
– Будущее уже происходит, а прошлого, скорее всего, не было, – не слушая его, сформулировал профессор.

Генерал последовательно снял дождевик, калоши, пиджак, ботинки. Расстегнул пуговицы на сорочке. Снял ее. Так же поступил с брюками. Все это проделывалось в кабинете и являлось результатом тех тяжелых дум, которым Василий Васильевич предавался все последние дни. И особенно часы, проведенные на веранде. История с изменой жены из не вполне доказанной превратилась постепенно в смехотворную. Но каков тогда он, генерал, если все претензии его к Галине Григорьевне ничем реальным не подкреплены?! Не дурак ли он? Очень может быть! Несправедливое моральное наказание, коему он подверг невинную (может быть – невиновную?) супругу, следует немедленно отменить. Надо доверять женщине, которую любишь! – вывел вдруг для себя формулу Василий Васильевич и чуть не прослезился от того великолепия и великодушия, что были в ней заключены.

Итак, раздевшись до нижнего белья, гипнотизируя дверь спальни (нехорошо, если Галина Григорьевна выйдет внезапно и застанет его в таком виде), прошел к бельевому шкафу. Скрипнула половица, исказив физиономию счастливого мужа. Облачение должно соответствовать высшей сути момента. Парадный мундир – вот что сейчас было бы уместно. И цветы! Василий Васильевич на мгновение растерялся, но тут в его голове мелькнула подпоручиковская мысль. На клумбе у входа

Торопливо, однако тщательно облачился. В одном решительном броске выбежал на улицу, сорвал несколько мокрых растений и, светящийся, предстал перед дверью спальни. Изысканно постучал рукой в белой перчатке. Тою же рукой подкрутил бакенбард. За дверью молчание. А-а! – понял Василий Васильевич, – «сон, смеживший очи деве». Он снова поднял руку.

– Тихон Петрович скончался, – сказала Настя, глядя в пол.

Разговор на веранде смолк при одном ее появлении. После сказанного молчание сделалось как бы торжественным.

– Очень удачно, что вы здесь, Антон Николаевич. Надо разобрать кое-какие бумаги. Завещание и прочее.

– Отчего такая спешка? – Пунцовые губы обменялись мягкими укусами. – Удобно ли? Надобен адвокат.

– Нет-нет, не волнуйтесь, все удобно. Это просьба Марии Андреевны. Она очень вас просит вскрыть и огласить завещание немедленно. У нее какие-то свои на это причины.

Когда следователь встал, Евгений Сергеевич неуютно поежился в кресле. Его очень интересовало то, что написано в завещании, но он знал, что обнаруживать этот интерес неловко. Наследницей в конце концов является Зоя Вечеславовна, а не он. Да и вообще, меркантильные переживания плохо гармонировали с темою предшествовавшего разговора.

Никого!

В спальне было пусто.

Генерал тяжело повернул голову вправо, потом влево и прошептал одними усами:

– Где же ты?

Комната выглядела так, будто покинута была навсегда. И бесповоротно. Посреди аккуратно застеленной кровати лежало письмо. Нетрудно было догадаться, что там содержится объяснение причин бегства Галины Григорьевны. Да, всего лишь это. Ни слова, дарящего хотя бы маленькую надежду, там не было. «Я должна вас покинуть, должна!» И это все.

Пухлые пальцы медленно скомкали послание.

Следователь появился на веранде в сопровождении батюшки. Нес в руках конверт, покрытый большими сургучными кляксами. Господин Бобровников был отчасти рад, что ему досталась некая роль в здешнем семейном катаклизме, но вместе с тем немного опасался быть втянутым в какую-нибудь кляузную историю. Евгений Сергеевич выжидательно прищурился.

– Надо пригласить всех, – заметил батюшка. – Вы не сходите за генералом и Настей, юноша?

Саша готовно кивнул, но стоило ему подняться, как в глубинах дождя раздался топот копыт. И мимо веранды проскакал верхом на белом жеребце одетый в парадную форму Василий Васильевич Столешин. Даже не посмотрев в сторону гостей и родственников. Плюясь гравием, высокая и тяжелая фигура удалилась по яблонево́й аллее к воротам.

– Что это такое? – спросил Евгений Сергеевич, впрочем, не рассчитывая, что ему кто-нибудь ответит.

– Ну что ж, надо хотя бы позвать Марию Андреевну, – вздохнул следователь, надламывая первую печать.

– Она осталась при Тихоне Петровиче, – ответил отец Варсонофий, – плачет. И потом, она знает содержание документа.

Антон Николаевич потряс высвобожденным из конверта листом. Воздух был так влажен, что это потряхивание не произвело характерного шума.

– Интересы Зои Вечеславовны представляете вы, Евгений Сергеевич, я правильно понимаю?

– Правильно.

– Собственно, из этого документа следует, что все права на имение и прочее имущество переходят к Афанасию Ивановичу Понизовскому. За исключением небольших сравнительно сумм, следующих Зое Вечеславовне и Василию Васильевичу Столешиным. Анастасия Ивановна остается, как и была, на иждивении... Что касается Марьи Андреевны... да что я, благово́лите убедиться сами.

Профессор взял бумагу в руки и, прочитав, убедился, что Бобровников абсолютно правильно изложил суть документа. Претензии Зои Вечеславовны были более-менее удовлетворены. Но не в ущерб генералу, как ожидалось, а уделением от богатств Афанасия Ивановича, нового всему владельца. Вариант, который можно было признать в общем удовлетворительным. Но в глазах профессора загорелись чувства, ничего общего не имеющие с радостью.

Приняв обратно в свои руки бумагу, Антон Николаевич объявил, что теперь необходимо ознакомить с документом главного правообладателя.

– Где его комната?

– Третья по темному коридору. По тому, что идет налево, – сказал Саша.

Депутация тут же двинулась.

Дверь легко отворилась, и в грустном полумраке можно было различить мужскую фигуру, лежащую ничком на кровати. Волосы рассыпаны по подушке, правая рука костяшками пальцев упирается в пол. Следовательно неохотно приблизился, сказал, не оборачиваясь, отцу Варсонофию, тяжело дышавшему за спиной:

– Он что, тоже мертв?

– Мертвецки пьян, – сказал одновременно каламбур и правду слугитель.

Бобровников подвигал ноздрями.

– Да, действительно, коньяк.

На щеках Евгения Сергеевича появился какой-то мертвенный отлив. Саша, также оставшийся на веранде, счел необходимым спросить:

– Что с вами?

– А вы сами не поняли? – неприятным голосом отозвался тот.

– Смотря что вы имеете в виду.

Профессор сильно поморщился и поскреб ногтями бледно-сизую щеку. И оглянулся. Ему было неуютно в отсутствие жены. Тем более что понятное сейчас им имело к ней прямейшее отношение.

– Получается, молодой человек, что она, как это ни дико, права.

– Зоя Вечеславовна?

Евгений Сергеевич сделал нетерпеливое движение холеной рукой.

– После этой бумаги у Афанасия Ивановича есть все основания бывать в имении почаще. Богатейшее хозяйство, его не оставишь без присмотра.

– Всего лишь «есть основания». Хозяин не обязан сидеть возле своей собственности неотлучно. Можно ведь взять и уехать на то время, что объявлено временем убийства. – Саша говорил спокойно, даже слишком спокойно, воображение его вовсе не было поражено. Он словно разбирал шахматную задачу, прикидывая, каким образом можно избежать осложнений.

Профессора более всего удивила и даже, можно сказать, задела именно эта рассудительность. Нежелание видеть сверхъестественную сторону события.

– Скажите, юноша, вы в самом деле так уж спокойны или всего лишь разыгрываете спокойствие? Вас ничуть не смущает...

– Что? То, что событие, казавшееся нам невероятным, вдруг проявило претензии на то, чтобы стать реальным?

– Да, примерно так, – отчего-то закашлялся профессор.

Саша поджал губы и наморщил лоб. Задумался.

– Нет, меня это не смущает. Почему я должен нервничать из-за того, что появилось косвенное подтверждение, что Афанасий Иванович Понизовский умрет именно летом восемнадцатого года? Меня бы даже и прямое доказательство этого не смутило.

– Признаться, мне несколько странны ваши речи, юноша.

– А мне это удивительно. Пожалуй, я догадываюсь о причинах вашего... – Саша смущенно, почти по-детски улыбнулся. – Вы знаете, обыденные представления очень порой влияют на умы свободные и даже глубокие. Теоретически все живущие знают, что умрут, но даже это чистое знание не избавляет их от страха смерти, что, согласитесь, удивительно. Нонсенсуально.

– Н-да, – только и сказал профессор, кривя рот.

– Бытует и еще более бредовая идея, что страх смерти смягчается лишь одним – тем, что неизвестен точный день. Тут уж, на мой взгляд, просто парадокс. Это

неуместное чувство – я разумею страх смерти – уничтожено полностью может быть лишь точным знанием своего часа. Отпадает целиком и полностью необходимость каких бы то ни было терзаний по этому поводу. Заметьте, что я имею в виду не самоубийство и прочие гадости. Интерес к этому вопросу становится столь же академическим, как стремление астронома к уточнению карты звездного неба. Разве не так?

На втором этаже было темно. Серый свет дождливого дня не имел сил просочиться сквозь двойные и тщательнейше задернутые гардины. В этой ни для чего не нужной тщательности сказывался какой-то здешний комплекс. Свойственный не только людям, но и самому дому. Непроницаемость как добродетель.

На втором этаже было тихо. Некому было здесь появиться и незачем.

Тем не менее Настя была настороже и старалась ступать как можно бесшумнее. Прекрасно зная расположение комнат и внутреннее их устройство, она каждый раз, нажимая на ручку двери, ощущала себя первооткрывательницей.

Перед тем как войти в «розовую гостиную», она взяла паузу.

Откуда бы взяться этой рыбьей робости? Что там может быть особенного?!

Самое страшное – фарфоровый немец с бочонком. Немец, которого нет. Без всякого желанья с ее стороны воображение нарисовало ей настоящего, в полный жирный рост, бургера. С трехведерной бочкой в обнимку он сидит на каминной полке, свесив толстые ноги почти до пола, и мурлычет мелодийку.

Чушь какая-то!

Чтобы доказать себе это, Настя решительно толкнула дверь, и сначала ей показалось, что она права. На каминной полке никого (и ничего) не было.

Но рядом кто-то стоял. Не мужчина. Фигура в длинном, до паркета, платье.

– Черт его знает, этого Фрола. Это какое-то исключение. Бывает он здесь, не бывает, – важно то, что через четыре года благополучно зарежет нашего славного дядю Фаню.

Настя спокойно теребила поясок своего некрасивого платья.

– И вы верите в это, да?

Профессорша прошла мимо нее к окну, шурша подолом черного платья до полу и звякая фарфоровыми черепами. Отодвинула край гардины и посмотрела на дождь так, словно он шел прямо в будущее.

– Я не могу в это верить, я это знаю, девочка. В конце восемнадцатого года я получу письмо от одного из ваших соседей, где вся эта кровавая история будет подробнейшим образом описана. Забавно, но ты будешь в это время находиться здесь.

– Меня тоже зарежут?

Зоя Вечеславовна отпустила край ткани и повернулась к собеседнице.

– Нет. И ты это прекрасно знаешь. Тебя озверевшие мужики пощадят. За доброту твою, за отзывчивость. А вот Афанасия Ивановича нет. За те годы, что наш милейший либерал дядя Фаня будет владеть Столешинным, он успеет превратиться в редкостную скотину, злобную и несправедливую.

– С трудом верится. Может быть, его убьют по ошибке?

– Нет, дорогая, никакой ошибки не будет. Афанасий Иванович полностью заслужит то, что с ним произойдет. Легко быть добрым, прекраснодушным и либеральным, когда отвечает за все кто-то другой. Например, Тихон Петрович. Когда

же сталкиваешься нос к носу с нашим замечательным, самобытным народом-богоносцем, – звереешь! Афанасию Ивановичу, человеку отчасти европейскому, а значит верящему в рациональное мироустройство, делается уже через несколько месяцев невыносима мужицкая уклончивость, своеобразная хитроватость, загадочное косноязычие деревенской души, эта добродушно-звериная повадочка. Он затеет усовершенствования, ибо совесть ему не позволит просто безвозмездно пользоваться плодами чужих рук. Как всякий просветитель, он пойдет с факелом рационализма в угрюмые сиволапые народные толщи. Первые добрые порывы потерпят позорный крах. И тогда он решит, что добро должно вооружиться дисциплиной, что справедливость проистекает от регулярности и т.д. Мужики будут уклоняться от своей пользы, он их – пороть. Они будут больше уклоняться, он их – больше пороть. Короче говоря, возненавидят его пейзаже наши столешинские, и даже не столько за лютость, беспримерную в наших великодушных местах, а за свою неспособность постичь, ради чего эта лютость к ним применяется. Если за дело, то секи, у нас так. Баловство не сладко без наказания, предполагающегося в конце его. А вот непонятное – непонятно и отвращает. Так что зарежут его, зарежут, как только возможность представится.

– А чего же он тогда не уедет, чувствуя свое шаткое положение и вдобавок имея такие на свой счет предсказания?

– Да не успеет. Он же знает, что предсказание касается лета восемнадцатого года, а мужики примут свои меры еще в январе. Не велят уезжать, возьмут под арест, так сказать. Власти кругом никакой. Вступиться некому, соседи-помещики сами дрожат от страха. Так и будет полгода ждать смерти под домашним арестом.

– Жуткая картина. Может, ему сейчас об этом сказать? Пусть откажется от имени и уезжает.

– Скажи, милая, скажи. Пусть откажется. А что, завещание уже вскрыто?

– Да. Тихон Петрович помер час назад. Все отказал дяде Фане.

Зоя Вечеславовна прошла шумною тенью назад к камину.

– Я тут сижу-сторожу, а там такие события! Тихон Петрович сделал страшную ошибку. Он человек был разный: и страшный, и странный, и честный. Одним словом, большую часть своей жизни подходил к своему времени, а в конце засомневался. И решил отдать бразды самому, на его взгляд, доброму. Я пыталась с ним говорить – уже когда весь этот кошмар с часами начался. Но мои слова звучали неубедительно. Во-первых, я сама лицо заинтересованное – если не Афанасию Ивановичу имение, то кому? А во-вторых, очень уж со своими предсказаниями похожа на малохольную. Что ж, поглядим, что из всего этого получится.

Вскипела следующая спичка и затеплилась новая папироса.

– Но ты-то, Настенька, не бойся, тебя они правда не тронут, мужики столешинские. Во флигеле поселят, учительницей будешь, чуть ли не праведницей станут тебя считать. Это будет такая народная плата за зверство, учиненное над барином. Наш народ отходчивый и мистически справедливый. Это все сведения из того письма ко мне в Ниццу. В Ницце мы будем жить с Евгением Сергеевичем. И больше я ничего про тебя не знаю. Верно, ты и меня переживешь.

Настя сухо сказала:

– Я ничего не боюсь. Я знаю, что меня не тронут. И знаю, что вас переживу.

Длинное серое молчание распространилось по комнате.

– Значит, я уже не одна такая, – наконец задумчиво усмехнулась профессорша. – Впрочем, что я! Давно надо было понять, что не одна. Тихон Петрович все про себя знал. Правда, открылось ему все лишь за месяц до вскрытия завещания. Да и Аркашка-дурачок. Насколько можно было разобрать его лепет, его таки убьют где-то в польских болотах. И очень скоро. Генерал пока непроницаем для намеков будущего. Мне неинтересно знать, что его ждет. Думаю, не подвиг. Что касается Марьи Андреевны – тут все ясно и скоро.

– Да, – тихим протокольным голосом сказала Настя, – она умрет сегодня же. И ничего не имеет против этого.

– Еще бы! Сказочный персонаж. Она прожила долгую и счастливую жизнь – и ей даровано умереть с мужем в один день.

Огромная и несчастная фигура шла, шатаясь, по вагону. Мощные генеральские движения распахивали двери купе – и раз за разом внутри ничего не обнаруживалось. Василий Васильевич казался себе крупнее обычного от трагедии, клокотавшей внутри. И поэтому не удивлялся тому, с каким трудом удается ему продвигаться по холодному коридору.

В сапогах хлопала вода, мокрый мундир был горяч изнутри.

То, что в вагоне нет ни одного человека, генерала и раздражало, и пугало, хотя он прекрасно знал, почему это так.

Дверь купе, в котором таилась Галина Григорьевна, была открыта.

От надвигающейся грозы несчастная актриса защитилась только тем, что вжалась в угол и плотно платком обернула плечи. Из-под надвинувшейся на глаза шляпки затравленно глядели когда-то умевшие пленять глаза.

Василий Васильевич понял, что ему не нужно входить внутрь, достаточно, что туда вошло облако мундирного пара.

– Галина Григорьевна, – сказал генерал со всей полнотой чувств, и у него отказало горло.

Он слишком знал, как виноват перед этой женщиной, и страстно желал, чтобы и она это знала. Одолев немоту, он начал ей об этом рассказывать. Поскольку человеческий голос ему не подчинялся, он невольно перешел на командирский. Он начал с самых сильных слов. Он бичевал себя. Он доказывал и объяснял, что никогда – «слышите, никогда!» – не позволит себе того, что позволил, безумный, давеча. Только доверие! Впредь только доверие будет править на их совместных землях. Сразу по получении денег они уедут, куда будет велено Галиной Григорьевной! И даже запрет первоначальный насчет сцены отменяется. Ежели захочет Галина Григорьевна, ежели потребует этого ее столь артистическое сердце, она может обратиться отчасти и к сцене. И не обязательно только лишь в виде любительских спектаклей в пользу каких-нибудь, не вполне достаточных губернских гувернанток. Допустима и настоящая жизнь в искусстве. С гримерными, букетами, аншлагами и бенефисами. Ничто не будет навсегда скрыто под глупым мужниным запретом. Муж, наоборот и напротив, собирается стать истинным другом и ценителем, не переставая быть опорой и надеждой...

Генерал остановился. Во-первых, ему стало трудно дышать. А во-вторых, пора было услышать что-нибудь в ответ. И он услышал.

– Оставьте меня! – истерично и истошно закричала Галина Григорьевна. – Оставьте! Оставьте! Совсем оставьте!!! Я ничего от вас не хочу!

– Галина Григорьевна... – быстро замерзая, попытался возразить муж с открытой душой.

– Убийца! Убийца! Вы ничего не можете мне сказать и не смеете говорить! А я могу, я знаю, что вы меня убьете. Вы мне не простите, не знаю чего, но не простите, вы меня убьете!

Василий Васильевич попытался думать, что это начинается горячка – дарительница бреда. Галина Григорьевна просто нездорова. Надобно обнять ее за плечи и приголубить. Успокаивающе и отвратно воркуя, генерал сделал шаг в купе. Сапог сладострастно чмокнул.

– Не смейте! Не приближайтесь ко мне, убийца!

– Что вы такое говорите, Галина Григорьевна?!

– Вы хладнокровно меня убьете. Нет, даже не хладнокровно. Вы подло и трусливо меня убьете. Ведь я же напишу вам письмо, напишу! Вы будете прекрасно знать, что я нахожусь в селе.

– Да как же я могу вас убить, Галина Григорьевна, окститесь!

– Как! Как! Из пушек, из ваших проклятых пушек! Вы, прекрасно зная, что я никакого отношения к банде этой не имею, что я просто актриса, – вы побоитесь сказать это своим вонючим комиссарам и убьете меня. Хоть сейчас-то уйдите. Мне не так много осталось. А вы будьте прокляты, трус и убийца.

Василий Васильевич, сделавшись бледным и немного окривев на одно плечо, не имея сил уйти сразу, закрыл для начала дребезжащую дверь. Постоял, упершись в нее мало что понимающим лбом. Дерево казалось ему горячим, причем преднамеренно. Постоял и побрел обратно своим извилистым маршрутом к выходу из вагона. Тяжело, как вынимаемый из петли висельник, спустился по крутым ступеням на насыпь. Там стоял с зонтом начальник станции. На лице его выражались готовность служить и чувство вины за качество погоды.

– Что прикажете, ваше высокоблагородие?

– Бомбардировать село, – ответил генерал, сомнамбулически направляясь к зданию. Начальник последовал за ним, теряясь в догадках сразу по нескольким поводам и тихо раздражаясь против самодурства больших чинов. Остановившись у станционного колокола, Василий Васильевич вспомнил про человека с зонтом.

– Ты вот что, братец, ты проследи.

Генерал повернулся к одинокому вагону, застывшему на запасном пути и заключающему в себе его бывшую жену. Начальник станции догадался, что он имеет в виду. Генерал полез во внутренний карман кителя, но в парадном мундире не было и не могло быть бумажника. Если бы Василий Васильевич не был обуреваем сильными и новыми для него чувствами, он испытал бы чувство неловкости.

– Не беспокойся, не обижу.

Начальник станции не поверил, хотел отойти с полупоклоном, но по инерции чиновочитания поинтересовался:

– А что с сынком вашим? Имею в виду – как быть?

– А посади ты его под замок, – сказал генерал, думая не о сыне и даже не о жене, а думу собственную.

– Уже, так сказать, сидит за дебош и вред буфету. Уж так был буен.

На это генерал ничего не заметил. Не глядя взял из рук железнодорожника зонт и отправился вдаль и вдоль по перрону с видом человека, с каждым шагом укрепляющегося в сознании своей цели.

– А дамочка? К нему дамочка прибыла из Петербурга. Как с нею быть? – озабоченно суетился сзади начальник, но не мог быть услышан.

– Я, например, точно знаю, где и когда умру. – Саша смотрел на профессора спокойным неаффецированным взглядом.

Евгений Сергеевич искал в его трезвом облике признаки безумия, но знал, что не найдет. Этот стервец даже не покраснел, что случилось с ним и в менее напряженные словесные моменты. Не заметно и специфического самодовольства, что порой возникает у людей, награжденных какой-либо особо тяжелой или чрезвычайно экзотической болезнью в обществе страдающих прозаическим расстройством желудка.

– Но, насколько я понимаю, коллега, где именно и когда именно – эти сведения вы бы хотели сохранить в тайне, – отчасти иронически заметил профессор.

Саша искренне удивился такому предположению.

– Это будет в одной физиологической клинике в штате Массачусетс. В Америке. Насколько я понимаю, эта клиника будет принадлежать мне. Умру я в преклонном весьма возрасте в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. В январе.

– Точнее не можете сказать? – защищая свою последнюю позицию, ослабилась Евгений Сергеевич. Саша был настолько открыт, что профессорская ирония пролетела сквозь него, как ворона сквозь колоннаду.

– Не могу. Я впаду в беспмятство перед смертью. Сколько оно продлится дней, знать мне, естественно, не суждено.

– Очень интересно: Америка, клиника. – Евгений Сергеевич плеснул себе мадеры в чайную чашку.

– Интересно как раз не это, а то, что мне удалось понять. В конце концов. И начал я понимать уже здесь, в Столешине. Попытаюсь объяснить в доступных формах. Вы ведь, если правильно понимаю, к физиологии...

– Это что – лягушек резать? Увольте. Человек, истязавший земноводных, но безответных тварей, носит немытые волосы до плеч, всем хамит, умирает от неумения пользоваться своими собственными инструментами. На могиле его вырастает лопух, периодически радующий стариков родителей. И никакой Америки.

Саша вежливо улыбался, пережидая. И стоило лиловощекому дяденьке затануться вином, начал:

– Уже очень давно, почти год назад – я уже тогда занимался проблемами старения, вернее, причинами оного – я сделал небольшое, но глобальное открытие. Иногда нужно уйти от точных частных и позволить себе пусть расплывчатое, но решающее обобщение. Вот в чем мое. Природа, наша матушка-природа, не рассчитывала на то, что человек будет жить долго, а захочет еще дольше. Не думала, что он создаст вакцины и скальпели, пилюли и горчичники. Вы меня понимаете?

– Если у вас природа может думать, почему я не могу понимать?

– Лет до тридцати – тридцати пяти человек живет как животное, внутри за него работает природа. Все отклонения автоматически компенсируются, искажения исправляются, ущерб возмещается из внутренних, заранее предусмотренных запасов. Мы, как в утробе матери, прячемся в недрах естественного здоровья. Но с какого-то момента – всё! Сорокалетние природе не нужны. Все не нужны! Они – неважные приспособления для размножения и т.п. Сорокалетние организмы

предоставлены сами себе, им позволено жить по инерции, до первого серьезного нарушения в системе. На наш мозг, даже усложнившийся, ей плевать.

– Кому плевать?

– Природе, я же говорю. Что сложность нашего мозга перед ее сложностью! С природной точки зрения, люди становятся искусственными существами. Старость – это фактически загробная жизнь до гроба. Это не значит, что ее не должно быть. Разумеется, так вопрос ставиться не может. Мы не должны во всем ей подчиняться. Желание прожить как можно дольше – своего рода новоприобретенный инстинкт, резко отличающий человека от животного. Хотя, если вдуматься, то срок нашего пребывания там от времени, проведенного здесь, зависит вряд ли.

– Мне кажется, вы отвлеклись.

– Да, простите. Итак, я прихожу к выводу, что хотя понять суть биологической жизни нельзя, в обозримом по крайней мере будущем, следует попробовать изучить как следует работу биологического механизма. Улавливаете мысль?

Евгений Сергеевич молча отхлебнул еще вина.

– Но это если глобально смотреть, почти философски. Я же лишь физиолог, отчасти врач. У меня своя узкая полянка. Меня интересует определенная часть биологического механизма физиологической машины. А именно – кровеносная, сосудистая система. В чем причина ее старения, столь пагубно сказывающаяся на продолжительности человеческой жизни?

– В чем?

– Во внутренних стенках артерий – они, кстати, имеют своеобразное наименование: «интим». С возрастом на этих стенках начинают возникать отложения, все больше, больше. Канал кровотока неуклонно сужается. Наконец наступает закупорка, сердечный или мозговой удар и смерть. Почему так? Потому что природа не позаботилась о способе растворения этих отложений. Зачем? Принцип экономии средств. Старики не нужны.

– А кому они вообще нужны? – выразительно цыкнул зубом профессор.

– Это у вас пессимистическое настроение. А на самом деле нужны хотя бы самим себе. Науке. Старость иногда сопровождается мудростью. Вот вы почти светило для филологических умов. Зачем вам умирать завтра от сердечного приступа, когда вы можете написать еще десять или сорок книг.

– Что эти десять или сорок изменят в мире?

– Не знаю. И уверен, что не мое дело – знать это. Может быть, желание жить как можно дольше есть часть высшего, надприродного повеления человеку. Оно может, например, исходить от Бога. Хотя, если честно, Бог мне непонятен. Я стараюсь оставаться в кругу вопросов, имеющих какой-то ответ. В Столешинских болотах я нашел путь, самый первый шаг пути, – в болотах Флориды и Амазонии я его продолжу – к тому препарату, что очистит артерии человека. Без скальпеля и прочих ужасов.

– Кто знает, может быть, ваш путь ошибочен, вы об этом не думали? Вдруг болота вас обманут?

– Мне нравится одна фраза из какого-то философа: человек, который заблуждается, не знает, что он заблуждается; человек, который знает истину, точно знает, что он знает истину.

– Спиноза.

– Пусть, зато правда. И тут я возвращаюсь к началу. Наградив меня точным знанием о дне и часе смерти, меня осчастливили. Ибо тем самым я получил подтверждение, что моя теория верна. Вы понимаете, верна. Моя жизнь приобретает смысл, ее имеет смысл прожить. Все остальное такая чушь в сравнении с этой уверенностью.

Профессор вдруг, не предварив свое действие никаким словом, швырнул в энтузиастически привставшего исследователя недопитый стакан чая. Студент увернулся и весело крикнул:

– Это не чернильница, герр профессор.

Корженевский тяжело встал и, не глядя в сторону собеседника, вышел вон с веранды. Саша, потеряв равновесие на качнувшемся стуле, свалился на пол.

Зоя Вечеславовна отпустила гардину, в гостиной вновь сделалось темно.

– А знаете, что я вам скажу, вот какая мне пришла в голову мысль. Не бывает эпидемий, которые убивали бы всех поголовно. Из любой чумы бывают исключения. А Евгений Сергеевич, несомненно, человек исключительный. Кроме того, я не верю, что этот бред будет длиться еще долго.

– А я, напротив, боюсь, что он наступил навсегда. И по всей стране, – с пожилой задумчивостью в голосе сказала Настя.

– Ну-у-у нет! – помотала головой и позвенела немецкими башками Зоя Вечеславовна, – это было бы слишком апокалиптично или даже апокалипсично. И как-то – аляповато. Конец света не может начаться у нас в Столешине и произойти в таких пошлых формах. Буфетные мужики бегают с садовыми ножницами за своими развратными женами.

– Это не так.

– Что не так? Но, если вдуматься, – профессорша помолчала, – это наваждение могло бы стать чем-то вроде спасения. Когда все заболевают одной болезнью, они становятся равны в самом существенном. Появляется паразитерная основа для взаимопонимания. Люди наконец смогут договориться. На платформе общего горя. Становится представима и даже возможна новая всеобъединяющая идея. Что произойдет с Россией, обуянной таким необычным и общим переживанием! Не только идея возможна, религия новая... – Зоя Вечеславовна стала говорить быстрее, как будто речью ее овладела лихорадка.

– Это надо очень обдумать, очень! Все в этой истории так неоднозначно... Мы восприняли эти диковатые, неизвестно откуда идущие токи как бедствие, а это, может быть, просто такое откровение. А кровопускание, устроенное Калистратом, не более чем первое жертвоприношение новой религии.

– Я убеждена, что Груша не изменяла своему мужу. Не любила его, но не изменяла.

– Невинная жертва – это еще лучше.

Зоя Вечеславовна прошла вдоль стены в неожиданном танце.

– Мне не нравится, как вы о ней говорите.

Танец погас.

– А что это, милая, вы так горячо за нее вступаетесь? Впрочем, кажется, понимаю. Супружеская верность – это то единственное, что может себе представить девственница, размышляя о семейной жизни.

– Пусть так.

– Похвально, но странно. Поверьте, вы напрасно так носитесь с этой драгоценностью.

– Как знать.

– Одно преступление она, девственность ваша, уже принудила вас совершить.

– Преступление? – насмешливо и с избыточным чувством своей физиологической правоты фыркнула девица.

– Вы могли бы облегчить страдания этого кобеленыша Аркаши. Ведь он просил, пронзенный внезапным страшным открытием, просил у вас помощи, он валялся у ваших сухощавых ножек, как раненый валяется на поле боя, призывая сестру милосердия. Есть вещи, стоящие выше той позиции, которую вы сочли нужным отстоять. Фу и фи! Что ждет наших офицериков на фронтах будущей бойни, когда для них закрыты не только сердца, но даже и постели родной державы.

– Какая-то гнусная, бессмысленная чушь, – топнула «сухощавой» ножкой Настя, – у него же есть своя девушка в Петербурге. На меня он никогда не смотрел как на женщину. Я всего лишь дальняя родственница. Я не могла его отнимать у той, которая...

– Ложь! – уверенно заявила Зоя Вечеславовна, испытывая острое удовольствие от собственной губительной проницательности.

– Отчего же ложь?! И потом, как вы можете знать, что Аркадий добивался меня? Он никому не рассказывал, и я тоже.

– О Господи! – презрительно усмехнулась профессорша. – Я знаю, когда умрет мой муж, я знаю, что расстреляют царя и все его семейство, я знаю, что война, которая начнется на будущей неделе... в общем, почему от меня должна быть скрыта такая мелочь?

Следователь и священник вышли на веранду. Им открылась картина, заставившая отца Варсонофия выразиться образно:

– Мамай прошел.

Большой обеденный стол был наполовину обнажен. Уцелевшие чашки смущенно топтались на дальнем краю. Валялись стулья, кокетливо отбросив ножки в сторону. В дальнем углу веранды сидел на полу Саша в обнимку с остывшим самоваром и был красен вместо него.

– Что случилось? – профессионально спросил Бобровников.

Саша пожал свободным плечом, отодвинул наглый самоварище и поставил его рядом и вертикально.

– Евгений Сергеевич.

– Что Евгений Сергеевич?

– Напал вдруг на меня. Сначала мадерой швырнул, а потом вскочил, ногами стал топтать и кричать. Самовар схватил, потащил – и в меня. Я со стула на пол, головой об стенку.

Саша, классически морщась, ощупал затылок.

– А причина, причина какова? Не мог же он просто так, без всякого повода на вас напасть, юноша!

– Вы мне не верите, но...

– Пока не очень. – Бобровников поднял стул и сел. Батюшка нахмурился и подвигал губами в недрах бороды в стиле «свят-свят». Был чем-то недоволен и смущен. Студент встал, одернул форменный кителек. Он был кое-где присыпан мокрой заваркой.

– Я просто рассказал ему свою теорию, он выказал сначала интерес и слушал даже с вниманием. Отпускал замечания по ходу. А потом вдруг эта мадера. Я было смеяться, а он...

– Что же за теория такая? Разумею, что в ней именно причина, – подал голос батюшка. – Изложите ее нам.

Юный физиолог боролся со следами чаепития на мундире.

– Боюсь, вам она покажется богопротивною, – сказал он с оттенком мировоззренческой непочтительности в голосе.

– Во всяком случае швыряться в вас мадерою я не стану.

– А где сейчас Евгений Сергеевич? – Следователь следовал своим путем.

– Не знаю, ушел. Я лежал смирно, дабы не возбуждать в нем еще большей горячности. Притворился без чувств. А он, проклиная немцев...

– Немцев?!

– Звучали ученые фамилии, а они по большей части немецкие. Так вот, проклиная, и вместе со слезой немного, удалился. Слышал, как гравий хрустит, более ничего.

ТРЕТЬЯ ПОВЕСТЬ ОБ ИВАНЕ ПРИГОЖИНЕ

Мститель

Внутри было сухо и сильно пахло вином. Сухим красным. После тёрнского гулевания Иван Андреевич запомнил этот запах навсегда. Оказывается, праздничные бочки крепились к своим носилкам намертво, что оборачивалось большим удобством во время водного путешествия. Деревянное винохранилище путешествовало вертикально, как бы на подводных крыльях. Оставалось только молиться, чтобы не вылетели затычки из дырок.

В быстро наступающую темноту Иван Андреевич вплыл в гулкой толпе обрушенной в реку тары. Выстрелы полицейских револьверов и крики потревоженных бродяг остались на берегу. Первые потеряли пленника, вторые – жилье. Беглецу было наплевать и на тех, и на других. Осторожно высунувшись из вертикального жерла, он выловил из воды длинную узкую доску и назначил веслом. Теперь он был полностью экипирован для ночного путешествия.

Течение Чары было быстрым, но плавным, вода неслась по гладкой вымоине в базальтовом основании континента. Единственную опасность представляли столкновения с собратьями по побегу, полыми детьми знаменитого тёрнского бондаря Иштвана Гелы, до конца прошлого века снабжавшего солониной дунайские города.

Впрочем, не все бочки плыли порожняком. Иван Андреевич слышал слева и справа от себя то руситскую, то румынскую ругань. В этих возгласах было поровну возмущения и удивления; принадлежали они тем бочечным жителям, кто сверх меры нагружился накануне и стал приходить в себя, только оказавшись в воде.

Чара без всякого предупреждения сделала крутой поворот. Лента плывущих бочек скомкалась под корневищами трех высоченных сосен, единой черной громадой вставших на фоне слова «вызвездило». Поработав веслом, Иван Андреевич миновал сие подобие Сциллы. Тёрн остался за поворотом жизни – со

всеми своими праздниками, предательствами, полицейскими, букинистами и обманутым поездом. Вдохнув поглубже речной воздух, Иван Андреевич испытал такое облегчение, что ему захотелось задрать голову и что-то объявить звездному небу. Но сдержался. Он был не уверен в этих невидимых берегах. Настолько ли они пустынно, насколько тихи? Раздражало и то, что он не может определить, на каком расстоянии от них находится. Держится ли он середины потока или вот прямо сейчас въедет в охраняемую камышом заводь.

Тени ив и тени сосен сделались его смутными ориентирами. Первых становилось все больше, а вторых все меньше.

Слух беглеца привыкал к новым звуковым условиям. Надводные звучания холоднее и извилистей наземных. Для сухопутного слуха они так же странны и неприятны, как шевеление тритона за шиворотом. Никакое непонятное шуршание в ночном лесу не могло заставить Ивана Андреевича потерять самообладание. Здесь же пара невидимых шлепков по водной глади где-то слева по курсу тут же вызывала в воображении матерого утопленника, который незаметно подкрадывается к плавучей бочке, чтобы наброситься на путника.

Впрочем, пустое. Иван Андреевич был готов оседлать и пришпорить речного мертвеца, если не окажется другого способа передвижения.

Очень приятно было проплывать мимо редких пристаней. Деревянный настил, сарай речника, тусклый фонарь с сальной свечой внутри. Собака рассеянно гавкнет, сама не уверенная в том, что учуяла что-то на водной поверхности. Стукнет калитка, гроыхнет ведро, напоминая реке, что оно имеет право на поборы с нее.

Деревни стоят спиной к бесшумной воде. Они ее не стесняются, завтра здесь уже будет протекать другая река. Вся гордыня града направлена вовне. В реку все исподнее и постельное. Вода досконально узнаёт, как тут ели, спали и любили; и ей интересно. Настолько, что она замедляет скорость своего течения. Иван Андреевич определил это с помощью песни, которую тянули бабьи голоса во всех минуемых поселениях. Песня повествовала о прелестях летней прополки и о любовных играх меж бойким Иванкой и скромной трудолюбивой Цветанкой. Вся Чарская долина, вернувшись с огородов, отряхнув колени и умывшись, упивалась этой историей. В предместье Тёрна Иван Андреевич успевал, проплывая мимо поющих, узнать всего лишь, что Иванко спозаранку ходит за Цветанкой и что Цветанка не очень-то отвечает Иванке взаимностью. Чем дальше он спускался в долину, тем со все более развернутой версией песни его знакомили.

Наконец где-то посередине меж Тёрном и Ильвом он выслушал ее почти целиком. Уже была и свадьба, и дети, и свой огород, который со временем потребует прополки.

Иван Андреевич поневоле увлекся исследованием местного песенного фольклора и в очередной деревне рассчитывал узнать, замкнется ли эта поразительная по своему внутреннему драматизму история в круг. Но живая жизнь не позволила ему порадоваться силе своей иронической проницательности. Следующая деревня спала. Намертво. Как, надо полагать, и вся Чарская долина. В одно время полем, одну песню поем и вместе спать ложимся. Может быть, в этой формуле и заключается единство народа. Под размышления такого рода стал Иван Андреевич убаюкиваться, найдя относительно удобное положение в круглой каюте. Может быть, подействовали на него слабые, но винные пары, с коими он эту каюту де-

лил. Вдруг страшный удар в спину. Вздернулся, вскинулся, но не опрокинулся. А-а, это всего лишь бочка-преследовательница; гналась от самого Тёрна и только здесь настигла. В абсолютной тишине ее толчок прогремел как гром. А почему абсолютной? Вон там копыта лупят по проселку. Главный государственный тракт Ильв – Тёрн вплотную в этом месте подходил к реке. Скает полицейский наряд со стороны столицы. Тут Иван Андреевич понял, почему видит всадников, – вместе с тишиной исчезла и темнота. Его бочка плыла по реке расплавленного олова. Матушка-луна преподносила беглеца на бледном полотенце всякому, кто захочет его увидеть. Иван Андреевич присел и наклонил голову.

Всадники остановились на берегу.

Толпятся, перестраиваются, обмениваются опасными для секретаря мыслями.

Прозвучала невнятная команда, и стук копыт, бледнея, посыпал вверх по реке.

Иван Андреевич выглянул им вслед и догадался, что его спасло. Оловянная река вся была просто утыкана плывущими бочками. Будь он один на воде, не избежать бы досмотра.

Беглец с огромным облегчением пошевелился. Поглядел по сторонам, поглядел вверх. Теперь можно было подумать о предстоящем разговоре с мадам. Какая-то неуверенность обнаружилась в сердце. Когда возлюбленная была совершенно недоступна, он великолепно знал, что он ей скажет при встрече. Теперь же, когда исчезли все препятствия... В самом деле, почему она его бросила на произвол обезумевшей сестрицы?! Почему решила выдать хромой славянофилке? С головой. Что там бормотал господин Сусальный о торговле пушками? И если честно всмотреться, то месяц их изобретательной любви выглядит не столько упоительным, сколько подозрительным. Эти inferнальные завалы мебели, перепуганные телеграфисты, закутанные офицеры, патефонные пытки, опереточные дипломаты, невразумительные подарки, усаые призраки. Все эти переодевания, негрофилы с железными коробками, переодетые гайдуками мулаты, выпученные глаза Меропы, каминь, полыхающие посреди июня, и снова усаые призраки. Бледнолицые, с изодранной ноздрю. За воротами. Жутко, нечеловечески усаые...

Когда он проснулся, первой мыслью было – проспал. Справедливости ради надо сказать, что пропустил он много. Не видел, как обгоняют его судно несущиеся с севера на юг автомобили, набитые девственницами, пушечными торговцами, дипломатами и развращенными детьми. Просмотрел набережную торгового города Сельма. Не видел, как в предрассветном тумане бродят среди тюков зевающие полицейские, не слышал, как ругаются паромщики и выходят на берег гогочущей толпою гуси.

Иван Андреевич нетерпеливо и осторожно высунулся из бочки. Обнаружил, что давным-давно уже рассвело и что корабль его болтается на мелкой волне как раз под стенами Стардвора. Туман на реке столь густ, что кажется, будто княжеский замок парит на облаке, не касаясь земли. Стало быть, за спиной у него... Иван Андреевич услышал удар и хруст. Бочка накренилась. Борясь за сохранение равновесия, беглец развернулся внутри бочки и надавил спиной на поднимающийся край.

Он находился метрах в семи от ивовой стены, давшей название здешней столице. Увидел клетчатые руки, державшие веревку, противоположный конец которой грыз с помощью маленького якоря кран бочки. Увидел красное, но своеобразно довольное лицо пана Мусила. Услышал, как он шепчет, пыхтя:

– Помогайте, Луиджи, помогайте.

И Ивана Андреевича решительно втащили под ливень ивовых веток. Оказавшись на берегу, он увидел два направленных на него пистолета. Один нормальный, другой шестиствольный. Между тем «спасители» ему улыбались. Скорей приветливо, чем настороженно. К тому же они имели вид людей, у которых что-то случилось.

– Вы собираетесь меня убить? – как можно высокомернее спросил секретарь

В ответ послышались добродушно-оскорбительные смешки. И пана Мусила, и Луиджи, и тенора забавляло, до какой степени он не понимает своего положения. Иван Андреевич давно казался себе похожим на Иванушку-дурачка, но не желал, чтобы это заметили другие. Он насупился и принял оборонительную стойку.

– Успокойтесь, господин Пригожин, успокойтесь, – засеменял голос пана Мусила. – Самое неприятное для вас позади. Еще вчера вечером мы могли желать вам зла. Теперь дело обернулось таким образом, что мы сделали союзниками.

– Мы с вами?

– С вами, с вами, мы, мы, – заверяюще закивали Маньяки.

– Что же такое случилось вчера вечером?

Пан Мусил покашлял в курок револьвера.

– Боюсь, вам трудно будет понять с ходу.

– Я постараюсь.

– Граф Консел получил приказ устранить садовника Аспаруха. Учтите, я говорю вам абсолютную правду.

– И поэтому вы решили не убивать меня? – Физиономия Ивана Андреевича выразительно скривилась, но клетчатый толстячок отнюдь не почувствовал абсурдности своих слов. Продолжал объяснять что-то свое.

– Мы оценили непреклонность порыва, бросившего вас в воду в Тёрне.

Объяснение было чуть внятнее первого, но только чуть. За спинами вооруженных господ раздалось недовольное шевеление. Иван Андреевич поднял глаза и разглядел в сложной тени деревьев карету. На козлах сидел третий итальянец. Никаких слуг не было видно.

– Скорее, господа, скорее! – недовольно сказал он, и все остальные признали, что он прав.

– Едемте, едемте, господин Пригожин. Ничего страшного вам не грозит. Мы только лишь покажем вам интересную фильму.

В небольшой подвального типа зальчик Ивана Андреевича доставили с повязкой на глазах. Когда ее сняли, он увидел, что будет смотреть «фильму» в обществе старых знакомых. В продавленных бидермаеровских креслах, расставленных без всякого порядка, сидели граф Консел, сэр Оскар. Терентий Ворон морщил плешь при помощи влажного от волнения платка и громко шмыгал обиженным носом. О пане Мусиле и говорить нечего – он тоже был тут и заведовал показом. В дальнем углу мостился капитан Штабс, было даже непонятно, на чем он сидит.

Два безликих механика возились с киноаппаратом и испуганно переговаривались на техническом наречии. У этого мероприятия был отчетливо подпольный, как бы противозаконный оттенок. И это при подобном скоплении персон важных и важнейших.

Необходимое вступительное слово было произнесено гостю из Тёрна шепотом на ухо. Оно состояло в сообщении, что наш век есть век всеобщего шпионства

и стремительного технического прогресса. С помощью новейших приборов и механизмов любые, даже самые тайные и низкие, проявления человеческой натуры могут попасть в сферу высокой политики.

Иван Андреевич покосился на пана Мусила.

– Непонятно? – спросил тот.

Иван Андреевич пожал плечами.

– Не верите или не хотите верить?

Опять выловленный из реки не нашелся что сказать.

– Тогда смотрите!

Торговец пушками подал знак, и за спинами зрителей затрещала большая степенная цикада. Расширяющийся луч образовал на белой стене ослепительный квадрат. Несколько секунд на экране плясала кандинская дребедень, а потом явилась комната. Иван Андреевич вздрогнул. Вид ее был, кажется, ему знаком. Обширный, богато обставленный кабинет. Волнение секретаря усугублялось собственным трепетом летящих кадров. Обширный, как империя, стол, два золотых подсвечника (Актеон и Артемида) на зеленом сукне. Он мог бы поклясться, что сукно именно зеленое, хотя фильма была черно-белой. Письменный прибор в виде фрагмента Трафальгарской битвы. Широкая мраморная губа камина, три пальмовых пятерни нависают над диваном красного дерева с бронзой...

Иван Андреевич уже, конечно, понял, чей это кабинет, удивление относилось к тому, почему он виден с такой странной точки.

Дергающейся, невыносимо манерной походкой вошла в кадр мадам Ева (тварь! сволочь! сука!). Она была в домашнем тулонском платье с прямоугольным вырезом, вырез затянут телесного цвета кисеею. На голове умопомрачительная прическа. Над левым ухом вздымается волна, над правым кипит пена. Вычурно, но великолепно! (Чучело, настоящее чучело!)

Иван Андреевич не в состоянии был оторваться от экрана, поэтому не мог определить происхождение этих шипящих шпилек. Они кишели в воздухе кинозала. Все были настроены против мадам.

Она прошагала мимо бездыханного камина и села к столу.

Иван Андреевич понял, откуда смотрит киноглаз. Напротив стола висел портрет Наполеона работы Тьюборла, тот, где император в нелепом лавровом венке. В большом нагрудном медальоне императора и угнездились соглядатайское око.

Пока Иван Андреевич это понимал, многое успело произойти на экране. Мадам с самым деловым и недовольным видом разобралась с почтой. Она вскрывала письма так резко, будто ошипывала курицу. И сама она, если всмотреться, напоминала манерами большую птицу. (Гус-с-сыня!) Иван Андреевич прекрасно помнил, что в жизни мадам была не такой. Кинопленка клеветает. Задумалась, рвет телеграфную ленту. В клочья! Опять задумалась. Чу, подняла голову. Кто-то появился в кабинете. По лицу хозяйки видно, что удивлена. Замирает, подбравшись. Медленно, насколько возможно в этом стрекоте, встает. Гость вот-вот войдет в кадр. Вошел!

Военный. Короткий китель, сапоги бутылками, мятые под коленями галифе. Сабля до полу. Движения ходульные, шарнирные. Стоя спиной к камере, он что-то говорит мадам... нет, не говорит, он бросает обвинения. Много обвинений. Время от времени ощущивает лицо.

Наконец говорить ему надоедает, и он развязно плюхается в кресло перед письменным столом. В профиль к зрителям. Зал вспыхивает восхищенными ахами. Иван Андреевич в первый момент понял лишь то, почему пальцы этого австрийского офицера так внимательны к собственным щекам, – очень уж заштитены. Чуть позже и до него, беспечного мебельщика, дошло – Фердинанд! Пусть и небритый, но эрцгерцог. Разумеется, по степени визуальной популярности он уступал своему батюшке Францу-Иосифу, нервные усики смотрелись жалко в сравнении с пышными седыми бакенбардами. Тем не менее его облик был известен любому читателю газет на континенте.

Эрцгерцог сидя продолжал выражать яростное неудовольствие своей собеседнице, он дергался в кресле, как зверь в капкане. Ни одной неподвижной секунды. Пыльный (значит, прямо с коня) лакированный сапог все время отбрасывал ножны, норовившие заползти под брюхо креслу. Темный рукав бился на темном сукне. То встанет на локоть, то рухнет расшитым отворотом вниз.

– Вы видите, видите, как недоволен Его Высочество, – шепот пана Мусила.

Мадам стояла потупившись, но не испуганно, изредка пытаясь обронить замечание в поток высочайшей брани. Главный триалист империи не усидел в кресле.

– Его Высочество вне себя, – заметил сэр Оскар. Эрцгерцог начал яростно маршировать вдоль стола, воздевать руки, а потом лупить себя по коленям. Во время особенно решительных рывков он на время выпадал из кадра, и тогда все начинали оборачиваться к ни в чем не повинным механикам. Но что те могли сделать?

– Смотрите, а ей хоть бы что. Она даже улыбается! – возмущенные шепоты из разных углов.

– Она села!

Действительно, демонстрация военизированной нервности не произвела на мадам угнетающего действия. Бросая быстрые (и еще более убыстряемые киноспособом) взгляды из-под невинно дрожащих ресниц, она с трудом сдерживала улыбку. Женщина почти всегда ошибается, думая, что видит мужчину насквозь. Мужчина испытывает жалость, если может поставить женщину на место, или раздражается, если такой возможности лишен. На экране отображалась ситуация третьего рода. Ни жалости, ни раздражения – гнев!

– Он ее застрелит? – очень заинтересованно спросил Луиджи.

– К сожалению, нет, – пропел тенор.

Иван Андреевич оглянулся – оказывается, в кинозал проникли Маньяки. Пока он оглядывался, мизансцена на экране изменилась. Вытребованная непреклонным эрц-герцогским жестом мадам обогнула суконную равнину и остановилась справа от нее среди скопления красного дерева, бронзы и бархата.

Небритый воин продолжал между тем свой обличительный танец в непосредственной близости от обвиняемого тела. Возмущенные ужимки, угрожающие гримасы. Ножны на манер крысиного хвоста бьют по ковру. В ответ: заламывание лаковых рук, сотрясение персей, гибельный изгиб губ.

Возмущение зала по этому поводу:

– Видите! Она как будто помолодела, тварь! А ведь когда хочет, кажется почти старухой!

Граф Консел бил золотой оправой своего пенсне по оскаленной десне и бормотал что-то добродушно-ругательное. Пан Мусил шумно наливался кровью.

На экране возникла пауза. Зрительный зал ответил замиранием. Несколько мгновений эрцгерцог молча буравил небритым взглядом беззащитную собеседницу. Кожаный палец (он так и не снял перчатки!) нащупывал каплю пота на виске. Киномашинка предавалась вольному стрекоту. И вдруг – а-ах!

Черная пятерня одним когтистым движением сорвала кисейный занавес декоральте. Ни одна жилка не дрогнула в теплокровной статуе по имени Европа.

– Какая мерзавка, вы посмотрите, что она творит!

Иван Андреевич подумал, что замечание относится к наглой лапе агрессора!

Китель долетел до кресла и замер с выброшенным вперед рукавом, как пловец, достигший желанного берега. После этого Фердинанд рьяно прижал белую грудь к своему (кажется, сиреневому) белью и нанес жадный, но не совсем точный поцелуй в рот мадам. После чего она была излишне резко (по вине кино) препровождена на диван и там, повинувшись беспрекословному приказу кожаного пальца, начала приводить в окончательную негодность свое платье. Его Высочество колотил пятками сапог в ковер, они неохотно снимались, а ему не хотелось вершить наказание мадам слишком уж по-походному.

В общем, приготовление к соединению шло с неестественной скоростью и цинизмом. И это смягчало для Ивана Андреевича кошмарность зрелища. Спасительный душок киношной несерьезности был во всем этом. Он ждал, что сейчас что-то где-то щелкнет, Его Высочество и мадам станут быстро-быстро одеваться. Подпрыгнет и пристегнется сабля, срастется платье, как девственная плева, восстановится кисея в вырезе – и в конце концов они усядутся к столу, беседуя. Чем сильнее он надеялся на возвращение, тем бодрее дело шло дальше; они уже провалились так глубоко, что никакой пленке, даже запущенной в обратном режиме с самой высокой скоростью, уже их было оттуда не вытащить.

И наступил момент, когда фильма кончилась и началось самое обыкновенное скотопредставление. С разных сторон вываливались из беспокойной тьмы хари и десятками по-разному отвратительных голосов объясняли Ивану Андреевичу, что он наблюдает случай беспардонного, омерзительного, нечистоплотного и антиконституционного совращения эрцгерцога Франца-Фердинанда международной шлюхой.

– Покажите мне место, где на ней можно было бы поставить клеймо!

– Нет такого места!

Иван Андреевич пытался возразить, что наблюдают они все вместе отнюдь не совращение, а скорее изнасилование, надругательство, принуждение к сожительству, превышение полномочий, использование служебного положения в личных целях.

– Это изнасилование?!?! – гомерически вопрошали все. И в этот момент мадам могучим движением плеч переворачивала дунайского принца и более чем добровольно производила в его адрес грубые любовные действия.

– Да, это насилие! – слабо, почти беззвучно настаивал на своем Иван Андреевич.

– Это принуждение?! – хихикали все, даже механики, которых должны были убить после показа, когда мадам более чем искусно делала главнокомандующему искусственное дыхание.

– А это, конечно, использование служебного положения в личных целях?!!

В меру усатый милитарист с саблей и с хохотом гоняется за кокетничающей всем телом теткой. Причем и кокетка не одета, и сабля обнажена. На счастье Ивана Андреевича, восторженная пара так и убыла из пространства, доступного киноглазу. И вот тут, когда все осталось позади, Иван Андреевич начал терять сознание. Уже в который раз за последние дни. Кто мог предположить в этом здоровом теле столько впечатлительности!

Свалиться со стула ему не дали. Вода, пощечины, нашатырь – и вот он уже шарит вокруг себя руками и глазами, пытаюсь понять, где находится. Подглядывающий механизм был выключен. Горел электрический свет. Участливо болтающие пасти были настолько приближены к лицу слабонервного секретаря, что он почувствовал себя не только несчастным, но и загнанным. Чтобы не дать дотоптать себя этим уродам, он попытался перейти в наступление.

– Этого не может быть!

– Чего, чего не может быть?! – возмущенная волна пробежала по залу.

– Его Высочество верный семьянин. Я читал. Он влюблен в свою супругу графиню Хотек.

Пан Мусил по-хомячьи оскалился и потряс полненькими ручками.

– То-то и оно! Эрцгерцог действительно любит жену. Он ни в коем случае не собирался изменять графине. Он примчался, чтобы разобраться с пушками, он не подозревал, что попадет в такие опытные лапы!

– А когда это он приезжал в Ильв? И почему никто этого не заметил?

– Вчера, вчера приезжал. И, разумеется, строго инкогнито. Вы бросились в реку, он бросился в автомобиль – так, кстати, ничего и не добившись от этой... Верно, теперь он уже находится в расположении австрийских войск в Тарчине. Маневры прошли хорошо. А 28, в день Святого Вида, он, как и собирался, въедет в Сараево. Не забывайте, мы живем в век невероятного развития техники. Механические колеса уничтожают расстояния. Киноплёнка делает тайное явным, как вы только что имели возможность убедиться.

– Как же инкогнито, когда мундир?

– Ну, это вы совсем о смешном, поверх можно набросить плащ с капюшоном и поднять верх машины.

– А что ему было здесь надо? И что, никто не заметил его отсутствия – ни генерал Поттиорек, ни его жена?

– О, вы читаете газеты, интересуетесь политикой?

– Не неотступно.

Торговец пушками улыбнулся как человек, который знает ответы на все вопросы, которые ему могут быть заданы.

– Его Высочество, как и всех нас, возмутила афера с французскими пушками. Он не может не заботиться о процветании своей военной промышленности. Чтобы не откладывать дело в долгий дипломатический ящик, он приехал тайно и лично, чтобы вмешаться в ситуацию и поломать сделку, если ее еще можно поломать.

Граф Консел промурлыкал что-то одобрителное, мол, надо, разумеется, такие соглашения ломать и крушить.

– Князь Петр не смог дать вразумительных объяснений своего странного антигосударственного поступка и сослался на тайное влияние мадам в этой истории. Она давно уже была известна эрцгерцогу как любовница императора, и его давно возмущало то, какое она оказывает влияние на дела.

– Откуда вам все это известно? – как можно недоверчивее спросил Иван Андреевич, хотя верил каждому слову.

Пан Мусил не счел этот вопрос вопросом.

– Узнав, что эта авантюристка в городе, эрцгерцог направился к ней, чтобы раз и навсегда покончить с нею и ее кознями. Факт предательства интересов Австро-Венгрии был налицо.

– Не вы ли информировали его о сделке?

– У него достаточно своих шпионов. Итак, он поехал на Великокняжескую улицу. Остальное вы видели.

– Он изнасиловал мадам.

– Скорее она его соблазнила. Поверьте, способности и умения мадам в этой сфере ни с чем не сравнимы. Ежели вам недостаточно собственного, простите, опыта, могу призвать и иных свидетелей.

Иван Андреевич не успел возразить, свидетели явились. Братья Маньяки со слезами на лживых глазах рассказывали ему, как она мучила их, соединяясь с ними по очереди, каждому обещая счастье и обманывая всех.

– Когда это было, господа? – недоверчиво усмехался секретарь.

– Это было во время прогулки на авто.

«О Господи», – подумал он.

– А вы, находясь все время рядом, были в полном неведении и думали, что числитесь официальным любовником. Вы подвергались издевательствам втрое большему, чем каждый из нас, трех несчастных братьев. После слезоточивых итальянцев выступила британская дипломатия. Сэр Оскар, перебарывая приступы нервного удушья, пытался описать, какую кровью истекало его больное сердце, когда он понял, что разноцветные голуби грязно совращены великовозрастной гетерой. Что может быть раннее старого гомосексуалиста?

– А вы думали, что это длится вздорная ссора меж госпожою и секретарем? – прокомментировал пан Ворон, выступая на первый план с улыбочкой, скрывающей несомненно душевную язву. – Даже я, – развел он руками, – даже я, при всем циническом наклонении ума... ведь я поставил свое перо ей на службу совершенно бесплатно. Несколько случайных ласк – и все. Воспользовавшись моим ослеплением, она скупилла мои долговые расписки и передала их этому дегенерату Паску. Я погиб. Я погублен, но не знаю – за что?!

Иван Андреевич покосился на очкастую обезьяну, и его затоснило от подвижных думающих бровей.

– Вы еще скажите, что она и господина Консела соблазнила, – сказал он, но тут же вспомнил о рассказе начальника полиции и от этого потерял последнюю уверенность в своих силах.

Престарелый шпион чувственно зашамкал губами в задних рядах – в том смысле, что если надо что-то поведать, то он поведает.

Решительный, необыкновенно деловой сегодня пан Мусил остановил графа и прочих желающих поделиться своими интимными горестями.

– Вы правильно нас поняли, господин Пригожин. Все мы в настоящий момент являемся в той или иной степени врагами мадам Европы и желали бы ей всяческих несчастий. Ее способы интриговать возмущают и отвращают всех. Мы предпринимаем определенные, как нам казалось, даже изощренные шаги к тому, чтобы ее погубить.

– И что? – Иван Андреевич сделал вид, что готов усмехнуться.

– Не желая доставлять вам дополнительные переживания, все же расскажу.

Просмотренная вами фильма не единственная в своем роде.

– Кстати, кто их снимает? Этот человек ведь должен постоянно находиться в доме на законном основании! Присутствующие неуверенно переглянулись.

– А-а, теперь уж все равно, – нахмурился пан Мусил, – эти пленки передала нам мадмуазель Дижон. Побуждения ее были вполне бескорыстны. Она действовала из чистой ненависти и святой зависти.

– Знаю, она завидовала сестре, но при чем здесь чистота? Она завидовала, потому что в мадам Еву все влюблялись, а в эту лупоглазую бестию никто. Она со своей девственностью была еще более развратна, чем мадам Ева со своими многочисленными любовниками, в которых, кстати, я не слишком верю, господа.

– О, не сомневайтесь! – слезливо прошептал сэра Оскар.

– Даже если все так, то мне плевать. Мое чувство к ней останется... Я все равно буду ее любить. Ибо никто не в силах отнять у меня тот волшебный месяц, когда мы... да что я вам буду рассказывать, господа! Вам меня не понять. Потому что не дано! Я благодарен, слышите, благодарен мадам Еве! А эти пушки, политика, эрцгерцог, император – мишура и чушь! Пусть она спала с императором когда-то... Пусть она даже с паном Вороном... ее вынудили или люди, или обстоятельства. Я прощаю, прощаю ей! Более того, считаю, что она не нуждается в моем или чем-либо прощении.

Во время этой речи пан Мусил рефлекторно рылся в карманах, на пухлом лице менялись гримасы. Было понятно, что он сейчас достанет еще какой-то аргумент.

– Похвально, хотя и ненормально, что вы способны на подобные чувства. Вы прощаете мадам давнишнюю связь с императором и с нашим умником паном Вороном. А вот садовник?

– Что садовник? – не понял Иван Андреевич.

– Аспарух Слычнев.

– При чем здесь садовник? Вы мне что-то про него уже говорили, но я не понимаю.

Пан Мусил достал клетчатый платок и промокнул у себя под подбородком.

– Я уже сказал вам, что мы хотим уничтожить мадам Еву. С этой целью мы направили императору копию пленки, которую вы только что видели.

– А я сказал вам, что мне плевать и на пленку, и на императора. Я люблю мадам – несмотря ни на что.

– Увиденный вами эпизод не единственный на этой пленке. На ней зафиксировано и то, как мадам Европа соединяется с болгаринном. Со своим идиотом-садовником. Понимаете, о чем я говорю? Она делала это как раз в разгар вашего с нею «медового месяца». С садовником. Не после того, как вы поссорились, а во время романа. Какая неумность! Вы считали этого болгарского мужика чем-то вроде домашнего животного...

– Хватит! – прохрипел Иван Андреевич.

– Прикажете включить машину, мои слова можно подтвердить документально.

– Не надо. – Иван Андреевич прижал ладони к вискам.

Оружейник продолжал говорить:

– Кстати, история с садовником имеет неприятное завершение. У нас есть сведения, что император ознакомился с фильмой.

– Погодите.

– И вместо того, чтобы расправиться с мадам, как мы очень рассчитывали, он велел наказать садовника. Не более и не менее, как кастрировать.

– Что же в этой ситуации ждет эрцгерцога? – поинтересовался тихо кино-механик и испуганно замолчал. Пан Мусил продолжал обращаться к Ивану Андреевичу:

– Теперь вы понимаете, юноша, что...

Юноша поднял на него безумный взгляд.

– Я понимаю только одно, что я люблю мадам Еву.

– Вас не волнует тот факт, что вас могут приравнять к садовнику?

– Вы говорите непонятно.

Пан Мусил снова вытер под подбородком. Лицо его сделалось страшным.

– Сейчас вы меня поймете. Вы цепляетесь за этот свой эфемерный месяц любви как за воспоминание о потерянном рае. Эпизод с садовником вам кажется всего лишь недоразумением. Гадким, но всего лишь случаем. Так я вам сейчас докажу, что никакого эдема, июньского эдема не было. С самого первого дня, с самого первого часа эта чудовищная женщина просто использовала вас. Как? Вам ведь известно, что мадам актриса. Так вот, сюда, в Ильев, она приехала не только для торговли французскими пушками, но и для съемок некой фильмы. Весьма и весьма скандальной. Самой скандальной из всех до сих пор существовавших. Не догадываетесь, какой именно?!

– Не догадываюсь, – с трудом ответил Иван Андреевич. Он чувствовал, что ему лучше не знать того, что он сейчас узнает.

– Вспомните, разве не заставляли вас напяливать на себя бутафорские костюмы и заниматься любовью всякий раз на мебели иного стиля, всякий раз в новом интерьере? Вы небось думали, что это просто оригинальное и невинное извращение, ничего более. Причем шло дело каждый раз под довольно громкую музыку. Вам это казалось тоже немного странным, верно? Так вот, это были съемки, мой юный, слепо влюбленный друг. Съемки. Господин Делес – кино-порнограф, главный изготовитель отвратных лент по всей Европе. Трансильванский дворец в Ильеве – идеальное место для подобной работы. Интерьеры, колоссальные запасы старья, нужно было привезти всего лишь дюжину-другую кроватей. Фирма «Шнейдер и Крез» обязалась финансировать эту затею в обмен на услуги в торговле своим оружием. Вас использовали, как дешевую постельную скотину. Над вами надругались так, как только можно надругаться. Кроме того, вы в смертельной опасности: если император увидит вас в одном голом кадре с мадам... Вас найдут, как Аспаруха, кастрированным среди роз. Или берез. Как вам будет угодно.

– Он погиб только потому... – Иван Андреевич обессиленно, по инерции продолжал защищать разгромленную позицию. – Его Величество увидел в действиях садовника то же, что я в действиях эрцгерцога, – насилие. И болгарин, и Его Высочество грубо принудили мадам... принудили, принудили... и тогда Его Величество...

– Убейте ее, молодой человек из России, – раздался за спинами собравшихся глухой невеселый голос. Все обернулись. У дверей стоял князь Петр в надетом

на голое тело золотошитом мундире и с пузырем льда, приложенным к желчному пузырю.

– Убейте ее. Это надо сделать, и у вас нет другого выхода. Вы спасете меня, хотя на меня вам, наверное, наплевать. Вы спасете союзный вашему отечеству народ, ибо этот контракт – смертный приговор княжеству. Вы спросите – почему я? Во-первых, вы уязвлены этой тварью бесконечно сильнее, чем кто-либо другой. Во-вторых, вы – в отличие от прочих – лицо абсолютно частное. Вам легче будет скрыться после того, как вы совершите мщение. Сделайте это. Княгиня тоже просит вас об этом.

– Но моя голова...

Князь страдальчески поморщился.

– Это недоразумение. Имелся в виду ваш мозг, то есть... ну, вы понимаете, княгиня хотела побеседовать с вами на славянские темы. В переносном смысле голова, в переносном! Убейте. Поверьте, жизнь моя сделалась несносна и непереносима.

В руку Ивана Андреевича само собою переползло из волосатых лап пана Мусила шестиствольное чудо имперской оружейной промышленности.

– Это нужно сделать немедленно, – опять взял дело в свои руки торговец. – Мадам сейчас почивает. Слуги или подкуплены, или арестованы. Вас никто не остановит. О будущем не беспокойтесь, вы не только останетесь живы, но и сделаетесь обеспеченным человеком.

Иван Андреевич начал подчиняться командному голосу, встал, волоча по воздуху тяжелый пистолет, направился к двери. Князь Петр уступил ему дорогу. Во дворе (прокуренный киноподвал находился, оказывается, в княжеской резиденции в Стардворе) Иван Андреевич увидел автомобиль, за рулем сидел тенор.

Откуда-то с первого этажа донесся медный лепет невидимых часов. Они жаловались на то, что заняты заведомо бессмысленным трудом.

Все находящиеся в комнате посмотрели на массивный ящик красного, но некрасивого дерева с тусклым висячим маятником внутри. Кабинетный хронометр был мертв. Воистину, время остановилось в правительственной келье.

Пан Мусил нехорошо переглянулся с графом Конселом, сэр Оскар сделал трагические глаза Луиджи Маньяки, а потом все вместе обратили взоры на князя.

– Чаму ён нейдзе? – громко сказала княгиня. Подражая эрцгерцогу Фердинанду, она (втайне, конечно) стремилась сделаться покровительницей, а может, и повелительницей балканских славян. Для того чтобы постичь душу народа, надо изучить его язык. Поскольку народов славянских было много, она принялась учить сразу все языки, ни секунды не сомневаясь, что добьется успеха на всех фронтах. Немка, что и говорить.

Князь Петр считал, правда, что под видом всех этих волосатых второкурсников Загребского университета к ней шляются все новые и новые любовники. Как ни странно, в данном случае он был неправ. Княгиня строго разделяла слово и тело. К своей будущей политической роли она относилась очень серьезно. Не менее серьезно, чем эрцгерцог к своей. Он хочет из двуединой монархии сделать триединую, германо-венгеро-славянское государство. Прекрасно, она будет ему в этом помогать. Фердинанд станет в этом деле заведовать кнутом, она пряником. Если же его убьют, она готова была взять на себя и его долю исторического дела.

Влияние Ильва будет расти, он станет балканским Пьемонтом. Если, конечно, пристрелят эту кошмарную развратную тварь. Которую ненавидит даже собственная сестра.

Правда, тоже кошмарная.

Неужели сегодня?

Почему же так долго?! От дворца до дворца сто секунд езды на машине.

Но вот наконец шаги в приемной.

Княгиня встает несколько неровно, несмотря на бесчисленные тренировки. Князь отнимает от левого соска ледяную подушку. Присутствующие, как им и положено, замирают.

Дверь, обе высоченные створки, нараспашку! В окружении лакеев и гвардейцев стоит окровавленный тенор. Что-то он сейчас пропоет.

– Ну что же вы, молчать не сметь! – мучительно взывает князь. – Она мертва?!

Окровавленная голова поворачивается отрицательно и медленно, чтобы не расплескать то, что еще осталось внутри.

Немая, но очень шумная сцена. Скрипит паркет, стучат каблуки, вспышки кашля повсюду. Руки жестикулируют, хватаются за голову, за горло.

Наконец подробности: этот, казалось, затравленный открывшейся правдою секретарь шарахнул тенора рукоятью пистолета по голове, выкинул из машины и удрал на огромной скорости. К западным воротам.

Князь с истерическим стоном с размаху нанес удар ледяным астероидом по албанскому побережью и отломил итальянский каблук. Смятение в кабинете. Некому даже выставить вон любопытных слуг. Очень чувствуется отсутствие трезвого человека, такого, как начальник полиции.

Невнимательный обмен невнятными мнениями. Кто-то говорит, что отчасти готов к такому повороту события. Слишком легко этот юноша согласился на убийство любимой (хотя и отвратной). Порой судьба неповоротлива, а порой... Что же теперь?

За неимением вооруженных властью деятелей за дело взялся оружейник. Пан Мусил прикрикнул на лакеев, и дверь затворилась. Он же велел дежурному офицеру организовать погоню. Телеграфировать в Зборов, Чаплич и другие крупные села на Чишском тракте, чтобы немедленно и всенепременно задержали одинокого автомобилиста.

– Живьем, обязательно живьем, – подсказал сэр Оскар.

Князь опять затеял ходьбу вокруг стола.

– Жива, жива, она же жива! Но теперь она уедет, проснется сейчас – и уедет. И увезет все бумаги. Я не посмею ее задержать.

Княгиня Розамунда со вполне понятным отвращением смотрела на мужа.

– Не увезет, – успокоил его пан Мусил. – У мадам Евы сильная простуда, подхваченная во время ночной гонки из Тёрна. Она панически дорожит своим здоровьем и проведет в постели не менее трех дней. Делес, этот борец за черномазые права, при ней неотлучно.

– Как он умело скрывал свой союз с нею, – продолжал хныкать князь, – если бы не мадмуазель эта противная, вы бы так и не догадались, что он ее сообщник и киношник, дураки!

– То, что он имеет отношение к грязным махинациям в сфере кино, мы знали уже давно, тем не менее...

Князь махнул на оружейника ледяным пузырем.

– Почему же он сразу не уехал в Париж, как только получил текст контракта с подписью?

– Он не хочет ехать без своих коробок с киноплёнкой, а их около сорока. С таким хозяйством не прошмыгнешь незаметно. Ведь его вы посмели бы задержать, Ваше Высочество? – тихо отомстил князю пан Мусил.

Князь обиженно кивнул, судорожно вздохнул, в очередной раз прошелся по кабинету. Подойдя к портяжному манекену, грубо толкнул его пальцем в грудь, как бы спрашивая: а ты кто такой? Манекен некрасиво упал. Его Высочество резко обернулся.

– А офицера этого вы так и не сумели найти?

Пан Мусил поклонился почтительно, но ответил весьма твердо:

– Его искал господин Сусальный. Вы это поручили ему. Я лично не имею к этому ни малейшего...

– Хорошо, хорошо, – жалобно замахал рукою князь, не имевший сил ссориться, – однако меня беспокоит, как бы он нам... как бы это сказать... не повредил.

– Как? – усмехнулся граф Консел.

– Он может рассказать всю правду о съемках. О том, как он играл роль эрцгерцога в... нехорошей фильме. Ведь он как две дробины схож с Фердинандом.

– Без грима не слишком, – заметил сэр Оскар.

– Но все же, – продолжал нить Его Высочество, – если пойдет такой слух...

– Опасным он может стать лишь тогда, когда дойдет до императора. А вы Ваше Высочество, можете себе представить, чтобы на прием к императору мог проникнуть провинциальный, вечно полупьяный комик?

– Тем более в ситуации, когда никто из придворных этого не хочет, – поддержал пана Мусила граф.

– А...

– А если он начнет рассказывать о своих похождениях по трактирам, его просто-напросто отправят в сумасшедший дом, – радостно подвел итог общему мнению Луиджи Маньяки.

– Кстати, господа, а что сделалось с господином Сусальным? – раздался голос княгини.

– Он бросился под поезд, – пожал могучими плечами сэр Оскар.

– После того как господин Пригожин... – начал оружейник.

– А куда он, собственно, теперь едет?

Разговор, по трусливой княжеской тропе вильнувший в сторону, не мог не вернуться к сегодняшнему беглецу, и произошло это в вопросе доселе молчаливого капитана Штабса. Пруссак как-то посерел и зачах в последние дни. Им недовольны были в Берлине, им пренебрегали в Ильве. Сегодня никто не ждал от него разумного вопроса. Но еще меньше от него ждали ответа, который он дал на собственный вопрос:

– А ведь он, господа, поехал в Сараево.

– Сараево?!

– Сараево.

– Да, завтра, двадцать восьмого числа, эрцгерцог Франц-Фердинанд въедет в город, и господин Пригожин убьет его.

– Он не успеет добраться до Сараево, – с надеждой сказал пан Мусил.

– Успеет, – мрачно заверил тенор, зная свою машину. Между тем высказанная капитаном мысль воцарялась в кабинете. Было видно, как она движется от одного к другому и как по-разному действует на собравшихся. Вспыхивали и гасли глаза, ползли кривые и растерянные улыбки, схватывало животы.

«Он нам все испортит!» «Он вооружен!» «Если его схватят на границе, Потторек отговорит эрцгерцога въезжать в город». «Или отговорит жена». «Но Иванович уже предупреждал Билинского, что может найтись искренний сербский юноша, который не задумываясь бросит бомбу или выстрелит из револьвера. Но эрцгерцог не изменил свои планы». «Билинский мог не передать это предупреждение Фердинанду. Вам не хуже моего известно, что не все в Вене обожают эрцгерцога». «А если и передал, то сведения могли показаться Фердинанду чушью». «А когда ему предъявят живого террориста, совершенно реального террориста...» «С шестиствольным револьвером фирмы „Шкода“?» «Это нюансы, хотя и неприятные, так вот, в таком случае он, поверьте, задумается». «И если не отменит этот въезд...» «Между нами, довольно провокационный». «Пусть так. Так вот, он велит нагнать в город столько войск и агентов, что наши „искренние“ сербские юноши из кармана спички не посмеют достать, не то что пистолет». «Господа, господа, а не все ли нам равно, кто именно убьет „великого триолиста“? Господин Пригожин тоже довольно искренний юноша». «Тем более русский, в этом деле русский лучше серба». «Лучше-то лучше, но, думаю, что даже русского в этом деле мало. Император даже русского простит». «Ну, вы уж...» «Да, да, ревность – жуткая сила!» «Да, после того, что старику показали, он не скоро отойдет». «Но есть еще и Берлин». «Вильгельм настоит, он не упустит такой шанс!» «Настоять-то он сможет, но он не уверен, что стоит настаивать». «Если хотите, я могу вам описать реакцию Берлина на убийство Фердинанда». «Если оно состоится!» «Я не боюсь сглазить. В первый момент Вильгельм взбесится. Бросит свою Кильскую регату, примчится в Потсдам и потребует наказать цареубийц. Будет бомбардировать телеграммами и Вену, и Лондон, и даже Санкт-Петербург. Вера в династический корпоративизм в нем безгранична». «Да, они все родственники». «Но уже на следующий день его ярость начнет ослабевать. Он так же, как и все в Европе, ненавидит Фердинанда за пессимизм и мизантропию, к тому же завидует его бесстрашию и садоводческому дару». «Правильно, а тут еще появятся осторожные голоса прагматиков-миротворцев, у этой публики полные карманы липких аргументов». «И он передоверит право и ответственность за окончательное решение Францу-Иосифу». «Тем более, что подчеркнутое уважение к старику – издавна культивируемая линия его поведения». «А как старик относится к сынку-хаму, мы уже обсуждали». «Кроме того, прошу не забывать, что господин Пригожин нужен нам для другого убийства». «Но он не хочет убивать мадам, разве он не убедительно продемонстрировал это!» «Мы еще вернемся к этому вопросу. Тут нужно и, я уверен, можно что-то придумать». «Так думайте». «Вам тоже не запрещено этим заниматься». «Ох, Сусальный, Сусальный, я ведь считал его умным человеком». «Это во многом его вина, его безумная идея вывести русского секретаря из игры». «Вы говорите, умный? А по-моему, идиот. Он ведь решил, что попал в компанию масонов, ей-богу». «Да и вы хороши с вашими „магическими“ эффектами!» «А как быть?! Нельзя же было силой притащить его в спальню к мадам и нажать за него курок?» «А во-вторых, мы зря так уж волнуемся, господа, он физически не может добраться до Сараево». «Не успеет все же?» «Успеть-то

он, может быть, и успел бы, но ему не дадут». «Жандармы?» «Жандармы тоже будут в этом участвовать».

Иван Андреевич сидел за рулем второй раз в жизни. Никто никогда не попросит его описать дорогу от ворот трансильванского дворца до этого невзрачного моста, а ведь это могло быть поразительное описание. Он сидел за рулем, окостенев, как мумия, схватившись бесполезными руками за рулевое колесо и до предела вдавив педаль в пол. Это объяснялось не лихачеством или спешкой, а тем, что, раз вцепившись в скорость, он уже не мог «вынуть шпоры из брюха». Из боязни, что машина, поняв, под каким она седоком, проявит норов. Заглохнет или бросится от стыда в ближайший каменный угол.

Каждый появившийся по курсу предмет, каждый человек – это был внезапный враг. Скольких утренних гуляк разогнал он по магазинам и кафе, скольких заставил распластаться по ближайшей стене! Вылетев за городские ворота, сделался грозой телег и тарантасов. Возмущенные крики летели ему вслед из некошенных рвов по обе стороны тракта. Собаки и петухи надолго запомнили его рейд. Стайки поселян с косами через плечо (похожие на коллективную смерть), заслышав машину, торопели, а завидев, бросались вон с тракта и падали в живую траву, а потом крестились вслед. Коровы, разумно оборачиваясь, поджидали, когда этот грохот подкатит поближе. Слава богу, ни одна из них не стояла в этот раз посередине дороги. Иван Андреевич рулил, как аптекарь, грамм туда, грамм сюда. Он искренне не верил, что этим дрожащим колесом можно повлиять на движения автомобиля.

И вот такой водитель вылетел из-за поворота (отвесная скала в пятнах плюшевого мха) к деревянному мосту через широкий ручей. На мосту три обещанных жандарма на лошадях. Подкручивают усы руситские, перекрывают путь. Машину они сначала слышали. За каменным поворотом возник и стал быстро расти сгусток неестественных звуков. В нем, как игла в яблоке, крылась угроза. Жандармы расстегнули пистолетные сумки. Звук все рос – и вдруг как бы разродился клубящимся пылевым облаком. Механизм был внутри него, но неуязвим для глаза. А значит, и для пули.

Всадники выхватили револьверы, но увереннее себя не почувствовали.

Иван Андреевич, так и не сообразивший, как ему удалось обогнуть каменное препятствие, вынырнул из облака сажень за двадцать до моста. Что можно было сделать за секунды, оставшиеся до столкновения? Рассмотреть, что какие-то форменные безумцы гарцуют на мосту, размахивая револьверами; понять, что он неотвратимо и скоро въедет в них; содрать липкие пальцы с руля, схватиться за верхний край лобового стекла, поставить ногу на борт машины и прыгнуть через низенькие перила моста в недалекую воду.

Все это под аккомпанемент револьверной пальбы. Жандармы палили не в него, а в то, что было по-настоящему опасно, – в автомобиль, но пулю не остановишь впавший в самозабвение механизм.

Вода протащила Ивана Андреевича под мостом, он вынырнул и успел досмотреть финал битвы «фиата» со стражами моста. Кони орали, жандармы ржали, сложные разноногие существа, ломая перила и хребты, рушились в воду. Механический убийца в плен не брал, скомкав и сбросив с моста последнего жеребца и его жандарма, он ринулся следом. Содрал водяную кожу с потока, закачался

на волнах, накренился, что-то высматривая фарою в глубине. Из ноздрей капота шибанул пар.

Иван Андреевич стал выгребать к берегу.

Выбравшись и засев в кустах, понаблюдал за поведением ручья, тот был нем, как могила. Стало быть, этой части погони можно было не опасаться. Само собою, Иван Андреевич понимал, что отныне ему передвигаться надобно скрытно. Например, под сенью ореховой рощи, растущей вдоль дороги. Еще не успев полностью просохнуть на ходу, он увидел легкую рессорную коляску. Управлял ею пожилой господин в расстегнутом жилете, полосатых штанах и с большой висячей трубкой во рту. Вид у него был самоуверенный: какой-нибудь процветающий бакалейщик или управляющий из ближайшего имения. Но при виде жуткого револьвера уверенный человек стушевался. Сам помог развернуть коляску и, хотя этого у него никто не требовал, уговаривал лошадку вести себя смирно.

Уже порядочно отъехав, Иван Андреевич оглянулся и увидел, что пожилой господин продолжает кланяться вслед его револьверу.

Лошадь не то что машина. Искусство управления этим умным животным Иван Андреевич изучил в детстве и в совершенстве. Белотелая кобылка, весело выбрасывая копыта, мчала его вдоль ореховой чащи, яблоневого сада, дубовой рощи, вдоль пустоши и по дну ложбины. Через незнакомую деревеньку, провожаемая удивленными взглядами тех, кто привык видеть в рессорной коляске совсем других господ.

Иван Андреевич успел проникнуться к ней добрым чувством, но, надо сказать, что это была не последняя его лошадь в этот день. На следующей он выехал из ворот одиноко стоящей усадьбы, сопровождаемый проклятиями престарелого зажиточного крестьянина и зубовным скрежетом его безоружных сыновей. Крестьянский жеребец оказался плохим кавалеристом. Вскоре пришлось Ивану Андреевичу объяснять (опять же предьявляя в качестве основного аргумента подарок пана Мусила) начальнику деревенской почты, что он должен немедленно выпрячь из почтовой кареты коренника и отдать ему. Почтарь послушался, но вскоре Иван Андреевич окончательно пришел к выводу, что впредь не будет гужевых лошадей использовать в качестве верховых.

Несмотря на препятствия и перипетии, продвигался он стремительно (сравнительно), намного опережая слухи о своем появлении и наряд жандармерии, посланный его изловить.

Самый опасный участок пути он преодолевал ночью в стоге крестьянского сена. Засыпающие полицейские чины, зевая, бродили с фонарями вокруг явившегося из тьмы холма во главе с заикающимся дураком. Они прекрасно знали этого возчика, не раз он проезжал мимо их поста и груженный и порожний, но на этот раз у них имелось указание быть настороже. Возчик заикался сильнее обычного и не мог объяснить, куда это его несет на ночь глядя. Накануне Иван Андреевич продемонстрировал ему, сколько стволов будет направлено в его задницу в рискованный момент. Полицейские чесали в затылках. Если бы этот возчик был человеком полноценным, говорил не заикаясь и ехал днем, они бы его ни за что не пропустили, а тут махнули рукой, по совокупности нелепостей сочтя неопасным.

В те благословенные времена ни боевые действия, ни полицейские операции в ночное время были невозможны. Выехавшие на его поиски жандармы, укла-

дываясь спать, были убеждены, что он ответит им тем же. Но Иван Андреевич продолжал стремиться к своей цели. А ночь установилась над Балканами густая. Настолько темная, что нет возможности более-менее отчетливо проследить целеустремленные блуждания Ивана Андреевича и его отчаянные подвиги. Как ни наводи на образную резкость, зрелище зело зыбко. Какие-то копыта стучат, колесят колеса, прячутся в платки чьи-то причитания, одинокий дуб стремительно возносится над головою, впитывая звезды, мрак хлопает крылом над челом ездока воеет собака в ожидании луны.

Бог с ней, с ночью, никому не удавалось описать ее. Сразу утро.

Окраина города. Пустынный переулок на окраине. Вдоль стен каменного сарая крадется высокий оборванный человек. Он что-то прячет подмышку и оглядывается. Грязен, исцарапан, бос на одну ногу. Вот, кажется, дверь, к которой он стремился. Молодой человек дергает за ручку звонка. Еще раз, еще! При этом он все время оглядывается. За стеклянной по пояс дверью появляется заспанный хозяин. Разглядев как следует визитера, он быстро отпирает дверь. Он узнал Ивана Андреевича. Некоторое время они молча смотрят друг на друга.

– Мне нужно помыться и переодеться, – говорит гость.

– Идемте, – говорит хозяин, – что это у вас? – Палец хозяина указывает на левое плечо Ивана Андреевича.

– Это останется при мне.

А солнце продолжает подниматься.

В Видовдан по давнишней традиции на высоких берегах Дрины, Савы и Моравы сербские общественные организации устраивают народные гулянья. Веселые и сытные. В день этот султан Мурад на Косовом поле превосходящими всякое воображение силами разбил сербское войско. Но празднуется, понятно, не это. Поднимают тосты за одинокого героя Милоша Обилича, который, прокравшись в шатер султана-победителя, поразил его мечом в грудь, полную самодовольства.

Повсюду на цветущих лугах под ореховыми ветвями стояли питейные палатки и гремели самодетельные оркестры, млела баранина на вертелах, все бойчее плясала молодежь.

Его Высочество после маневров остановился на ночь в Илидже, небольшом городке верстах в двенадцати от Сараево.

В 9 часов 22 минуты к гостиничным воротам подкатили, поблескивая лаковыми поверхностями и сверкая никелированными частями, четыре «мерседеса» 13 го года выпуска. В первом заняли места начальник полиции, правительственный комиссар и сараевский бургомистр. Во втором, согласно правилам безопасности, поместился наследник престола, его супруга и боснийский наместник генерал Потюрек. Рядом с шофером сел граф Гаррах. В автомобилях третьем и четвертом нашли места свитские офицеры, венские и местные должностные лица.

В 9 часов 30 минут кортеж отошел в Сараево.

Иван Андреевич торопливо сбросил с себя грязную драную одежду, не менее грязное и не менее драное белье и начал обливаться теплой водой, зачерпывая ее руками из большого оловянного таза, стоя на дощатом полу кухни. Пистолет лежал на табурете справа от него. Хозяин стоял в дверях и сокрушенно молчал.

Иван Андреевич торопился. Схваченное мокрой нервной рукой мыло попыталось взлететь, но было прихлопнуто на животе. Иван Андреевич торопился, но намыливался тщательно и густо, словно от этого что-то зависело. Глядя одним глазом сквозь кошмар пены, он крикнул хозяину:

– Что вы стоите, принесите мне какую-нибудь одежду. И ботинки. Который теперь час?

– Девять тридцать три.

– У меня совсем нет времени. Скорее! Умоляю вас, скорее!

Эрцгерцогский кортеж вдруг свернул с дороги в сторону Филипповиц: как выяснилось чуть позже, наследник захотел поздороваться со стоявшими там на отдыхе частями. Обогнув небольшую ореховую рощу, автомобили вкатили в расположение лагеря. Их, оказывается, ждали. Стоя в полный рост, опираясь левой рукой на плечо генерала Потioreка, Его Высочество на ходу приветствовал солдат и офицеров 32 пехотного полка, того самого, где когда-то служил капитаном. Набирая скорость на волне восторженных криков, кортеж двинулся дальше.

Одной рукой растирая голову расшитым кухонным рушником, другой рукой Иван Андреевич рылся в куче вынесенных ему для примерки вещей. Все было – даже без примерки – мало, коротковато.

– Посмотрите еще что-нибудь! Вы же должны понимать, что я не могу идти в этом. В таком деле одежда может сыграть роковую роль.

Хозяин молча наклонил голову и повернулся к дверям.

– И поскорее, поскорее, умоляю вас. Все может решить минута!

Наследник престола велел остановиться у почты. Вышел из машины. У входа в здание его ждал сухой высокий старик в черном сюртуке, это был местный аулический советник. За этого старика просил кто-то из свитских, кажется, фрейлина герцогини Гогенберг. Дело тут было не политическое, но частное. Его Высочество решил, что его образу в глазах подданных этот снисходительный разговор пойдет на пользу. Собираясь объединить славян, негоже и мусульман отталкивать.

О чем беседовал наследник со стариком, осталось тайною. В 10 часов 19 минут автомобили показали на набережной Милячки. Франц-Фердинанд приказал сбросить скорость. На набережной было полно гуляющих. Народ нельзя было лишать возможности полюбоваться своим будущим императором.

Солнечное утро постепенно переходило в жаркий, пронзительно-синий день. В церквах гремели колокола. Справляли панихиду по сербам, павшим пять столетий назад на Косовом поле...

Иван Андреевич бросил последний взгляд в зеркало. Ощупал левую полу светлого сюртука, там во внутреннем кармане хранился револьвер. Бросается в глаза. Но по-другому нельзя. Шумно вздохнув раза три подряд, Иван Андреевич пошел к входной двери. С каждым шагом в его движениях крепла слабость, неуверенность, а в глазах появилась тоска. Он опять ощупал карман с револьвером.

– Знаете что, доктор, вам придется сходить на разведку. Я понимаю, что втравливаю вас в неприятную историю, может быть, даже опасную, но по-другому нельзя, я должен хотя бы приблизительно знать, что меня там ждет.

Первая бомба была за пазухой у Мехмедбашича, одного из основателей «Уедне-нье и смрт». Ему нужно было вынуть бомбу и швырнуть. На три секунды трудов. Легкое, хотя и смертельное дело. Мехмедбашич не был трусом или предателем, но бомбу он не бросил.

То же самое случилось и с Кубриловичем. Впоследствии он всем, даже прохожим на улице, рассказывал, что дважды стрелял в эрцгерцога из револьвера. Хватал за рукав, силой останавливал и начинал кричать, что это он! он! он только что стрелял в эрцгерцога.

В 10 часов 25 минут автомобиль наследника был у того моста через Милячку, что называется Цумурья, там стоял Габринович с букетом цветов. Он поднял его над головою и бросил под колеса автомобиля. Раздался грохот. Гвозди, начинявшие бомбу, свистнули во все стороны. В толпе заорали раненые. Один офицер из свиты схватился за горло, другой за плечо.

Наследник был невредим. Он был занят женою. Запальный капсюль оцарапал герцогине Гогенберг шею. Фердинанд помог обмотать ее платком.

Автомобили кортежа беспорядочно сгрудились на набережной. Очнувшийся от шока первым лейтенант Морсей кинулся на Габриновича. Находившийся тут же городской бросился наперерез золоченому венскому франту. «Не суйтесь не в свое дело!» Они сцепились. Бледный как смерть, снег и полотно Габринович медленно вынул из кармана склянку с ядом, медленно откупорил и вылил содержимое в рот. После чего прыгнул в реку.

Его Высочество овладел собою раньше прочих благодаря приступу бешенства. Испортить такую поездку! В ответ на невнятные вопросы Поттиорека, что делать, он велел ехать – как и было запланировано – в ратушу. Машины, набирая скорость, помчались вдоль по набережной. Гаврило Принцип, мимо которого пролетел кортеж, поступил так же, как Мехмедбашич и Кубрилович, – не воспользовался ни бомбой, ни пистолетом. То ли после первого дела счел дело решенным, то ли потому, что машины шли слишком быстро.

В ратуше ничего еще не знали о покушении. Бургомистр-мусульманин дрожащим от пережитого волнения голосом начал свою речь. Она получалась у него невероятно цветистой – или просто казалась такой на свинцовом фоне происшедшего только что на набережной. Эрцгерцог, разрывавшийся меж бешенством и необходимостью соблюдать приличия, резко оборвал бургомистра. «Довольно глупостей! Мы приехали сюда как гости, а нас встречают бомбами. Какая низость! Хорошо, говорите вашу речь».

Бургомистр продолжил, но успеха не имел. Наибольшее внимание привлекала шея герцогини, кровь продолжала сочиться.

Фердинанд объявил, что по окончании церемонии он заедет в больницу навестить раненных при покушении офицеров. Кто-то попытался ему заметить, что это опасно. В городе могут быть еще террористы. Наследник усмехнулся и сказал, что снаряд не попадает дважды в одну воронку.

Граф Гаррах, не доверявший солдатской мудрости, попытался организовать надлежащую охрану. Но возле ратуши не оказалось ни одного полицейского. Даже городского. Граф попытался чуть ли не со слезами на глазах в чем-то убедить Его Высочество, но тот не желал слушать. Тогда, обнажив саблю, Гаррах вскочил на подножку автомобиля эрцгерцога и сказал, что будет так стоять всю дорогу. На левую подножку.

Надо было на правую.

Решено было ехать прежней дорогой, следуя той же логике взаимоотношения снарядов и воронок. Террористы, даже если они и остались в городе, с прежнего маршрута должны были разбежаться.

Гаврило Принцип пил в это время кофе в маленькой кофейне на улице Франца-Иосифа. Он был в трансе. Габриновича наверняка взяли. Через него возьмут остальных. Горло перехватывало то ли от страха, то ли от отчаяния. Все рухнуло. Собирался ли этот юноша совершить еще одну попытку покушения, неизвестно. Эрцгерцог – должен был он рассуждать – уже на вокзале или в гостинице под охраною. Да, все рухнуло.

Гаврило Принцип вышел из кофейни с одной мыслью: как бы поскорее избавиться от бомбы и револьвера.

Между тем тронулся кортеж от ратуши. Шоферам никто не сообщил об изменении маршрута. Он сидел у них в головах еще с Илиджа: до ратуши по набережной, от ратуши поворот на улицу Франца-Иосифа.

Потиорек хватился первым, ударил шофера по плечу:

«Куда ты едешь? По набережной!» От генеральского окрика шофер ошалел и нажал на тормоз. «Мерседес» остановился как раз в том месте, где стоял напившийся кофе Принцип. Юноша от ужаса выронил бомбу. Она не взорвалась. Со всех сторон с криками бежали люди в мундирах.

В этот момент Иван Андреевич поднял свой пистолет и, не глядя прицелившись, нажал на курок.

Удар был страшный. Тело вжало в кровать и неловко вслед за этим подбросило. Правая рука отлетела и шарахнулась тыльной стороной кисти о стену, но пистолет удержала. Левая схватила и потащила край скатерти со стоявшего рядом стола неизвестно чьей работы. На пол посыпались мелкие вещицы, а потом тяжело съехала Библия.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Копыта хлюпали по мутным лужам. Генерал медленно ехал по пустынной деревенской улице, держа в правой руке поводья, в левой – железнодорожный зонт. Улица была широкая, заборы низкие, дворы голые и скользкие на вид. От этого ощущение пустынности усиливалось.

Дождь все сеялся, но уже по инерции, без внутренней уверенности в своей правоте.

Василий Васильевич не смог выбрать избу, к которой можно было бы обратиться с вопросом. Он проехал деревню насквозь, так ничего и не поняв в народной жизни. Увидев перед собой унылые липы и бредущую на водопой к барскому пруду березовую рощу, он остановился. Вытер мокрые щеки и, пробормотав себе в усы что-то непреклонное, развернулся. И погнал заляпанного грязью конягу обратно.словно почувствовав его решимость добиться своего, деревня перестала скрытничать и дичиться. Сразу же открыла она вернувшегося генералу амбар, под стеной которого сидели на полированном бревне с полдюжины задумчиво покуривающих мужичков. Черная соломенная стреха хоронила их от дождя.

– Здорово, мужики! – сказал бодро Василий Васильевич, глядяваясь в бородастые лица. Мужики встали, поклонились, содрал с голов шапки.

– А что, как мне Фрола Бажова, убив... плотника вашего, сыскать?

Изба Фрола была ему тут же, без всякого народного жеманства, указана и оказалась настолько рядом, что могло показаться, будто она тихо подкралась к амбару во время генеральского разговора с мужиками. Тем не менее один курильщик вызвался проводить и услужить. Принял у ворот коня на сохранение и зонт. Зонт генерал машинально сложил, отдавая в мужицкие руки, о чем потом долгие годы стыдливо жалел. Простые люди так же могут позволить себе не мокнуть зря, как и господа. Будущие красноармейцы никогда не догадаются, чему они обязаны столь человеческим отношением к ним их дивизионного военспеца.

В избе было тепло и кисло. Маленькие окошки давали мало света и позволяли лишь рассмотреть икону в черном углу, лампаду под ней, голый широкий стол и сидящего за столом бородач. Перебарывая в себе желание наклонить голову, чтобы не зацепить невидимый потолок, генерал подошел к столу и сел на лавку. Ему не хотелось, чтобы Фрол заранее понял всю серьезность и силу его интереса, поэтому он начал «шутливо»:

– Как поживаешь, убивец?

– Мы плотники, – глухо ответил хозяин, и Василий Васильевич сразу затосковал. Все же он очень рассчитывал на этого мужика, происходящего из самой что ни на есть народной толщи. Ближе всех расположенного к глубинной, беспримесной правде. Плохо, ежели он станет прикидываться рядовым представителем трудовой бессмысленной скотины. И еще хуже, ежели он является таким на самом деле.

– Скажи мне, ведь ты первый все узнал?

– Что, барин?

– Что станешь убивцем.

– Узнал, но стать не хочу.

– Это я понимаю, дурья твоя башка. Хотя, может, и не дурья. Но я про другое. Как ты дошел? И откуда это было? Просто так сделалось в голове, и все?

Фрол вздохнул тяжело и длинно, как бы не по своей воле.

– Не понимаю, барин.

– Не понимаешь или говорить не хочешь?

– Я сказал, сам сказал. Сам.

Василий Васильевич потрепал растительность на лице.

– Ты видишь, я генерал.

– А то.

– Я вошел, ты даже не встал. Значит, что-то знаешь. Может, даже и с той стороны, какой я скоро буду генерал, а?

– Виноват и стыдно мне – спал. Тихо, дождик сыпет.

В доказательство своего раскаянья Фрол поднялся, опершись кулаками на тускло освещенную столешницу.

– Ладно, пусть. Мне другое не нравится, что я никак не могу тебя уловить, ухватить. Русский народ!!!

– Русский, ваше благородие, истинный крест – русский. – И бородач мощно перекрестился на иконку.

– Значит, в Бога-то веруешь?

– Ишь ты, как же чтоб не так? – почти восхитился безумием вопроса плотник.

– А вот царь?

– Царь? Царь – он батюшка. И завсегда царь.

– А если его казнят?

– Не понимаю.

– Я тоже не понимаю, брат. И для меня царь есть царь. А я его генерал. Пусть даже бабу глупую полюбил всем сердцем и насмерть. И зря. Но я генерал, и я царский генерал. Понимаешь?!

– Понимаю. И робею.

Василий Васильевич сардонически захихикал.

– А ты, значит, Афанасия Ивановича зарежешь?

– Не хочу я этого.

– Мрачнееешь, но вместе с тем не полностью опровергаешь. Ну, Бог с ним, с Афанасием. А если б ты, Фрол Бажов, такой, как есть, понял, если б вступило тебе в голову, что не его, не либерального помещика Понизовского зарежешь, а царя Николая Александровича зарежешь, тогда как?

– Царь – это царь.

– Нет, ты не крути, ты возьми в голову, представь, вообрази: не Афанасия Ивановича, а царя-батюшку. Так же ясно, как Афанасия, только царя. И гостиная, и камин, и часы, только не помещик, а царь.

– Нельзя это и грех. И быть не бывает.

– А Афанасий Иванович, значит, бывает?! Его, значит, можно?! Уже, выходит, велено?! Кем? Кем велено?!

– Я этого не хочу.

– Но знаешь, что будет?

– Знаю, барин, – Фрол продолжал стоять, и голос его гудел под невидимым потолком, – знаю, очень знаю, но сильно не хочу.

– Но ведь кто-то, не ты, не Фрол Бажов, с тебя и дяди Фани хватит, – какой-нибудь Иван Петров знает уже, заметь, знает, что зарежет царя, как с этим быть?

– Я не знаю никакого Ивана Петрова.

Генерал вскочил, бросился к окну, ударил кулаками по узенькому подоконнику и заговорил быстро и горячо:

– А представь, Фрол, я, царский генерал... я готов хоть сейчас воевать идти, хоть полком командовать, хоть ротой, я глотку перегрызу всякому, кто заикнется против монархии и царской фамилии, всякому, кто... так вот, я тоже кое-что знаю. И про себя, и вообще. Что будет война. С германцами, а потом внутри себя. И я пойду на службу, уж не знаю, как это произойдет, понять такое мозг мой не в силах, но пойду-таки на службу к тем, кто царя моего сбросил и из пистолетов расстреляет. Это как, Фрол, а? Я ведь это точно знаю!

– Этого быть не должно, барин, – очень ясным, все понявшим голосом сказал мужик.

– Что значит «не должно»?! Вот хоть ты – не убивай Афанасия, и все! Что тут трудного – не убить, убить-то сложнее, ан ты все же сделаешь это, ибо неизвестно, что предпринять против этой мысли, против уверенности этой. Застрелиться, что ли?

- Самоубийство грех, – уверенно, причем употребив слово не из своего лексикона, заявил Фрол.
- А царя застрелить – нет? А барина своего зарезать?
- Каждый должен сам думать.
- Уж что-что, а думать мы горазды. Придумать – так нет, ничего толкового не придумывается, а думать...

Генерал поднял голову и посмотрел в окошко, прищурился и вдруг захохотал. Весьма громко и истерически.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Кто это там стучится в двери первого этажа? Мне отлично известно кто. Великий друг великого немого, липкий негодяй, склонный к негрофилии, мсье Делес собственной персоной. Я знал, что он захочет меня посетить, знал, что он меня выследит, но мне никогда не суждено узнать, каким образом он это сделает и зачем это ему нужно. Есть области мира, для проникновения в которые дух мой не предназначен. Впрочем, что это я! О месте моего пребывания мсье Делесу могла сообщить мадам. Какой-нибудь час назад доктор Сволочек беседовал с нею на мой счет. Надо сказать, более чем неудачно. Мадам не пожелала видеть своего старого, хотя и юного любовника.

Доктор Сволочек (пришло время открыть его настоящее имя – Словачек. Оно исказилось в призме моей юношеской неприязни. Господи, я считал этого милого словака, человека слова, форменной сволочью. Не мог простить ему его поведения в день дуэли. Да, я натолкнулся тогда на его похоронный взгляд и не смог покинуть коляску. Но что заставило доктора смотреть на меня именно так? Он всего несколькими минутами раньше узнал о смерти синьора Лобелло. Исходя из моего поведения в день смерти маэстро, доктор всерьез считал меня причастным к ней. Он видел во мне чадо ада. Этот незримый Лобелло был чем-то вроде провинциального Нострадамуса. Из каких-то древних и дрянных книг он вычитал, что судьба мира решится в городе Ильве в июне 1914 года. Причем руками молодого человека из северной страны Московии. Решится путем убиения этим юношей заезжей франкской актрисы. Можно себе представить, какими чувствами воспылал впечатлительный доктор, когда узнал о моем знакомстве с мадам Евой. Предсказания синьора Лобелло всегда сбывались. А тут еще выяснилось, что последнее предсказание есть последнее его дело в этой жизни).

Итак, доктор Сволочек отправился отпирать дверь. Если бы я мог, то остановил бы его. Все, что в моих силах сделать для него, – это назвать его настоящее имя.

Грохот переворачиваемого стола и стук падающего тела. Мсье нанес доктору удар рукоятью пистолета в переносицу. Теперь тихо Мсье душит доктора, поваленного навзничь. Душит, душит... Мелкий шум – конвульсирующая нога удушяемого отбросила табуретку. Все. Окончательная тишина.

Сейчас начнут скрипеть ступени, ведущие на второй этаж. Сейчас мы узнаем, сколько их. При жизни я несколько раз брался сосчитать, поднимаясь в кабинет теперь уже тоже мертвого хозяина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть – и это все?!

И он уже на втором этаже! Этого не может быть! Там их минимум пятнадцать-семнадцать. Ах, вот оно что! Мсье Делес изволит подниматься огромными замедленными шагами, выставив перед собою пистолет. Он думает, что это самый скрытный способ. Он не знает еще, что я не в состоянии встать. Жалеет, что нашумел с доктором. И надеется, что сплю. Да, он на втором этаже. Теперь он немного помедлит, решая, с какой из четырех дверей ему начать. Дверь в столовую открыта настежь. Дверь в кабинет приоткрыта, и там вот-вот зазвонит телефон. Зазвонил, облегчая задачу убийцы. Я должен, где бы ни находился, отреагировать на звонок и тем самым подставить себя под пулю. Руки мсье вспотели, пот волнения заливал глаза, жарко и страшно.

Телефон замолк на середине звонка. Жертвы, то есть меня, нет в кабинете. Я скорее всего сплю мертвым сном в спальне, за одной из двух закрытых дверей. За какой? Не гадая, мсье полагается целиком на свою интуицию и удачу. И она его как бы не подводит. В моей комнате становится чуть светлее, затем темнее – открыл дверь (бесшумно) и вошел. Он внутри. Увидел лежащее на кровати тело. Полусброшенный скатерть стол мешает рассмотреть, кому оно принадлежит. В настоящий момент оно не принадлежит даже мне. Во всяком случае, не полностью. Мсье Делес делает два перекрещивающихся шага влево. Если бы я мог, я давно бы уже выстрелил через скатерть из-под стола. Открытая им дверь продолжает медленно распахиваться. Сейчас она достигнет подставки с длинногорлой стеклянной вазой. Подставка содрогнется, ваза зазвенит, мсье выстрелит. Я, конечно, ничего не почувствовал, просто понял, что пуля пошла точно в солнечное сплетение, вторая – в грудную кость. Третья – в шею. Он словно бы меня застегивал.

Мсье замер и прислушался – какой эффект произвели его выстрелы. Я уже не внушал ему опасений. Я не только был стопроцентным трупом, я еще был очень похож на него.

Мсье явно хотел для верности сделать мне еще несколько дырок – и хотя бы одну в голове, но звуки, доносившиеся с улицы, отсоветовали ему. Он, пряча на ходу револьвер в карман, попятился из комнаты.

Будем надеяться, что три ближайших дня я пролежу в полном покое. Возвращение в Ильв с берегов ручья – пожирателя жандармов отняло слишком много сил у моего ныне столь продырявленного тела. О, как они старательно и бездарно за мной гнались! Если бы они могли представить, что я пробираюсь навстречу им, а отнюдь не в Сараево на набережную речки Милячки, они, наверное, могли бы меня поймать. Зачем я все-таки застрелился?

Чем дольше я пребываю в новом своем качестве, тем мне труднее ответить на этот вопрос. Я собственными силами сделал открытие: мадам Ева – грязная интриганка, похотливая тварь, глупая, самоуверенная, дурно образованная (достаточно вспомнить мебельные бредни ее гостиных) тетка. Когда-то, в дни своей таинственной молодости, она, может быть, могла пленять и пленила нескольких венценосных павианов, но в сегодняшнем своем неряшливо-развратном виде она могла прокрасться разве что в сонное сердце Иванушки-дурачка.

И вот я не могу понять, почему, когда мои глаза открылись, я выстрелил не в нее, а в себя. Я загонял до смерти лошадей по дороге в Ильв отнюдь не для того, чтобы увидеться с милейшим доктором, а конечно же в надежде поговорить с ней! Почему же не поговорил? Послал на разведку несчастного старика. Побоялся,

что, увидев ее, все же смогу всадить в нее пару пуль? Кажется, ответы на эти вопросы останутся для меня тайной, как и то, куда я отправлюсь из нынешнего моего состояния. Мне известно очень многое, но не это.

Например, я знаю, что господин Сусальный – человек в высшей степени порядочный и большой патриот своей странной страны. Он желал моего бегства не только потому, что это был самый простой способ расстроить планы врагов Ильваниии, но и оттого, что искренне мне симпатизировал. Достаточно сказать что он отдал мне свои усы для маскировки. В каком бешеном волнении он бродил по перрону, ожидая моего появления! Ждал до последней секунды, и когда ему сообщили о моем бегстве, он бросился под поезд: лучший способ закончить неудачный роман. Какой бы он казни подверг себя, когда бы узнал, что был участником бесконечно более крупной игры, чем борьба между «Шкодой» и Шнейдером за казну Ильванского княжества!

Еще мне известно, что в настоящий момент Его престарелое Величество император Франц-Иосиф, вместо того чтобы собираться на похороны племянника, кормит белым хлебом уток в дворцовом пруду. Кормит себе потихоньку, а в голове у него зарождается (очень медленно из-за преклонного возраста сего мозга) любопытная, даже неожиданная мысль. Оказывается, всем главным заговорщикам – Гавриле Принципу, Неделько Габриновичу и Трефко Грабежу (Его Величество из всей схваченной шестерки запомнил только одно имя – Принцип) – на момент совершения покушения не было двадцати лет. Стало быть, им можно, не вызывая недоуменных вопросов, заменить смертную казнь на наказание помягче. Пусть сначала это будет пожизненное заключение, а там посмотрим.

Сделав первый шаг – очистив Сараево от полиции и жандармерии, удалив всех тайных агентов в день въезда туда наследника и подтолкнув тем самым этих горячих юношей к принципиальному поступку, он должен совершить и шаг второй – сделать что-то для соблазненных его хитростью умов.

Пусть, пусть пока «свирипствует реакция», как напишет завтрашня «Аксон», пусть штадлеровцы и националистические банды австрияков и хорватов бесчинствуют в сербских кварталах Сараево: в Вареше, Бугойне, Високо, Мостаре, Травнике, Брчко; пусть полиция демонстративно опекает бандитов, пусть запрещаются все омла-динские организации, даже спортивные общества, такие как «Соколы». Пусть повсюду арестовывают сербских активистов – в Риске, Любляне, Задаре, Дубровнике, пусть закрывают сербские газеты, хватит нам одной лживой «Истины». Это плата. Плата за наглость. Все же стрельбу и швыряние бомб в главнокомандующего Австро-Венгерской армией никак иначе не назовешь – наглость. Пусть наследник был обречен, но имперский мундир надобно уважать!

Разгуд реакции – это кусок, который необходимо бросить активным безумцам вроде Гетцендорфа и Бертхольда. Надо дать им возможность поизмываться и над белградскими сербами. Глупая, хотя и полезная выходка этих желторотых героев должна надолго поселить в сербских сердцах чувство вины и страха.

Но скоро воинственная волна пойдет на убыль. Противников антисербского террора делается не меньше, чем сторонников. Хитроумнейший граф Тиса, вероятнее всего, станет во главе партии миротворцев. В глубине души никому неохота воевать. Даже Вильгельму.

Да, он в ярости. Требуется крови цареубийц и наказания всех тех, кто за ними стоит. Третий день на полях всех бумаг он пишет одно – «сейчас или никогда!», он обрушивается на бедного Чиркчи, посмеявшегося робко заявить:

«Я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы предостеречь от необдуманных шагов». Но в глубине души у Гогенцоллерна (как говорят сообщения графа Гройса) устанавливается настроение 12 го года. «Тройственный союз охраняет только физические владения союзников, а не какие-либо их притязания. Я не могу взять на себя ответственность за войну, где может погибнуть сама Германия, – и это ради дурацкой Ильвании!»

Да, волна начала спадать, едва поднявшись.

Я не в силах различить, где кончаются мысли Его дунайского Величества и начинаются мои. Человек, плывущий по течению, может до известной степени считать скорость течения своей собственной скоростью. До известной! В этом вся проблема – неизвестность этой степени. Но есть безотказный способ вновь почувствовать себя самим собой. Усилим воли сменить бездну, в которую вынужден проваливаться. Одна такая располагается прямо под моей спиной. Моя кровать является как бы пробкой некой бездонной бутылки. Кровать – часть гарнитура, изготовленного лет сорок назад Пребеном Проглядным (эту фамилию можно перевести как Прозрачный, Просвечивающий). В домах ильванской интеллигенции, как правило, стоит мебель его работы. Подо мною еловое ложе. Не надо даже закрывать глаза, чтобы увидеть и услышать: сырое туманное утро в предгорьях Ильванских Синих Родоп. Гулкие ритмичные удары, сотрясающие кристальную тишину и шевелюры деревьев. Нарастающий, как отчаяние, шум падающего гиганта. Со звоном отлетают сучья, люди в белых безрукавках поднимаются по тропинке в темнохвойную чащу. Сшибая пенистые верхушки мелких волн, извилистый суставчатый плот петляет меж крутыми лесистыми стенами. То стущаясь до предела, то вырываясь в промежутки вольного вращения, тянется песнь циркулярной пилы. Бесконечная рана просыпается сочными опилками; дальнейшая судьба – это полупрохлада и полумрак громадного лесосклада, он чем-то похож на загробный мир. В чистилище его расчлененным жителям гор суждено провести не менее трех лет, расстаться с лишнею влагой и медленными судорогами, скрытыми в волокнах древесины. В это время два вида человеческих существ покидают свои жилища с мыслью о будущей жизни тайно томящегося дерева. Одни идут в леса, другие на луга. Дело первых – смола, вторых – корневища особых трав.

Когда над синим равнодушным огнем подвешивают закопченный чан и в нем закипает черно-оранжевое празднично пахнущее варево, Пребен Проглядный, знаменитый «тачатель» мебели, входит в мастерскую. Рукава белой полотняной рубахи закатаны, за ухом карандаш, на носу вызывающе круглоглазые очки в простой железной оправе. Подмастерья молча выносят из глубин склада испуганно замерший брус. Мастер ерошит рыжую щетину на подбородке, раздувает ноздри, нюхает дерево одновременно и ноздрей и ухом. Венгерский свинодел господин Липчеи хочет сменить спальную гарнитуру в своем доме. Ему предстоит второй, он надеется счастливый, брак с юной певицей из заезжей оперной труппы. Итальянской. Толстый одышливый вдовец нелепо, шумно счастлив. Он не хочет скрывать – ему нужна широкая кровать. Последние годы ложем ему служил берлинский кожаный диван в кабинете. Кровать должна быть прочная,

основательная, но при этом выглядеть достаточно изящной – на итальянский вкус. То есть панели и спинки не возбраняется украсить резьбой. Пружины из артиллерийской стали.

Господин Липчеи, придерживая одной рукой длинную ночную рубашу, другой дрожашую свечу, уселся на девственное ложе. Блики света плавали по гроздьям резного винограда. Молодая жена в обществе второй свечи о чем-то шепталась со своим отражением в зеркале. Когда она, собираясь с силами для борьбы с отвращением, которое вызывал в ней «очкастый боров», подошла к кровати, господин Липчеи был мертв. От счастья.

После этого, мне отлично видно, в спальню входят, вбегают, врываются, вваливаются многочисленные люди. Тут не только наследники господина Липчеи по свинскому промыслу, тут пяток любовников итальяночки. Офицеры, ветеринар и провизор. Певичка требует от них таких многочисленных и необычных ласк, что невольно начинаешь завидовать свинопасу-миллионеру – умер вовремя. Затем у мебели появляется проданный вид, и тут же – купленный. Длинный тощий господин долго погибает от чахотки, окруженный лекарственными склянками и в присутствии тихой медсестры. Тихой, да не очень. Три-четыре раза в день она перепархивает в кабинет, там ее ждет молодой жизнерадостный наследник чахоточника. Чем занимаются молодые люди на диване, ковре, письменном столе, подоконнике – неинтересно. Интересно, кто есть больной. Это Давор Дарный, лучший ильванский композитор, автор знаменитой (печально) «Оды Родине» и гениальной, но ныне почти забытой стилизации «Собрание чарских напевов». Он держится не менее мужественно, чем его сын, но все же умирает. Сын мгновенно продает дом и исчезает вместе с сестрой милосердия в никому не интересном направлении. Дом вместе со славой его прежнего владельца и отравленной кроватью попадает в руки доктора Словачека. Доктор честен, поэтому не слишком богат. Он носится с мыслью сделать дом композитора культурным центром маленькой страны. Поэтому он не выбрасывает мебель. В частности, описываемую кровать. Мало того, что на ней умер сам Давор Дарный. Она еще, оказывается, является творением господина Проглядного. Именно на ней лежа, он впервые прочел рукописный манускрипт, составленный маэстро Лобелло. Он до такой степени был потрясен прочитанным, что стал с того момента считать произведение господина Проглядного священным местом. Стелил себе постель в кабинете. Почти год простояла кровать нетронутой – до того момента, как вошедший в сомнамбулическом состоянии в комнату бледный юноша с тусклым от переживаемой боли взором рухнул навзничь на спину прозрачного ложа и выстрелил себе в грудь из жуткого шестиствольного пистолета.

Однако время перевалило с третьего на четвертое число, в размышлениях моих появилась некоторая горячность, как будто возросла температура мышления.

Кто-то решил навестить жилище одинокого доктора, несмотря на то что предусмотрительный мсье Делес, уходя, вывесил на дверях табличку «Прошу не беспокоить». Кстати, для чего ему ее понадобилось вывешивать? Ах вот для чего! Для себя! Чтобы сохранить тут все в неприкосновенности до своего нового появления. Хотелось бы побольше узнать о его сегодняшних планах. Судя по доносящимся снизу звукам, он раздевает доктора. Удовлетворенно хихикает. Неужели не побрезгует трупным тряпьем?! Да что там наконец происходит?! Характер доносящихся снизу звуков не позволяет сказать ничего... Не может быть!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Стоило коляске господина Бобровникова выехать за ворота имения, дождь над Столешинным стал стихать.

Зоя Вячеславовна отодвинула мундштуком край портьеры, выдохнула дым в стекло и сказала:

– Дождь кончается, – как эхо, отозвалась Настя.

Старая курильщица резко к ней обернулась.

– Да, бывает такое состояние обстоятельств, что самое банальное выражение делается глубоким.

– Сейчас такое состояние?

– Пожалуй. Но речь не об этом, как вы понимаете.

– Ничего я не понимаю.

– Объясню, моя дорогая, объясню. Я жду расплаты.

– Расплаты?

– Или, точнее, встречного одолжения. Услуги за услугу. Откровенности за откровенность.

– Все еще не понимаю вас, Зоя Вячеславовна.

– Знаете, о чем я думаю, батюшка?

Качнувшись на внезапной ухабине, отец Варсонофий усмехнулся.

– О том же, о чем и я, об этой невразумительной истории. Не побывали ли мы в сумасшедшем доме, где все переодеты господами и дамами, прости Господи.

– Ну, как вам сказать...

– Да так и сказать, – батюшка шумно вздохнул, потому что очередная ухабина опасно заползла под правое колесо коляски, и живот, налитый мадерою, тяжело повело влево, – я знаю семейство Столешинных лет, почитай, пятнадцать. С тех пор как Насте сровнялось два года. Профессора видел несколько раз. Он всегда любил поговорить, но столь нездоровых и путаных речей от него не приходилось мне слышать ни разу. Да и другие на себя похожи мало.

– И какое вы даете истолкование этим фактам?

– Пока что никакого. Проще всего объявить о дьявольском наваждении. – Батюшка перекрестился. Бобровников поморщился.

– Это все общие слова. Общие слова, должна быть причина рациональная. Я вот что вам скажу.

– Милая моя Настя, я только что, не скрываясь, описала вам свою кончину...

– Вы ничего не описывали, вы просто били кулаками в стену и что-то кричали про какой-то туман. О том, что он вас пугает и неизбежен.

Зоя Вячеславовна должна была бы обидеться на почти снисходительный тон девушки, но не обиделась. На нее, напротив, нашла задумчивость.

– Просто я очень сильно испугалась.

– Вы испугались? – изумилась Настя.

– Еще бы. Со мной, оказывается, произойдет то, чего я всегда, с раннего детства боялась больше всего на свете.

Зоя Вячеславовна помолчала.

– Я сойду с ума. Никак по-другому этот туман объяснить нельзя. Видимо, смерть Евгения Сергеевича так на меня подействует. Я по-прежнему не знаю.

когда умру, но зато мне известно, – Зоя Вечеславовна нервно хмыкнула, – как. Моя мать... если со мною случится нечто похожее... а безумие передается по наследству... она десять лет провела в лечебнице в грязи, унижении, в каких-то ни на что не похожих муках. Ей не было даровано даже воли к самоубийству. Иногда самоубийство не грех, а высшее право и абсолютное благо. Если душа уже частично там, наверху, почему должна так страдать, терпеть подобные унижения...

– Я тоже не знаю, когда умру, – тихо сказала Настя.

Коляска остановилась, от лошадей шел обильный пар.

– Для очистки совести, всего лишь для очистки совести, батюшка.

– Моя совесть чиста.

– Давайте заедем к этому «убивцу». К Фролу Бажову. Вы, конечно, будете надо мною смеяться.

– Не буду.

– Я даже по должности обязан, мне кажется, вмешаться. Следует его... как бы это правильнее сказать... допросить. Именно допросить. Есть какая-то связь между его первоначальными бреднями и развитием столешинских событий. Может быть, не следует человеку просвещенному верить, что возможны...

– Поворачивайте.

– Не верю, – входя в свое обычное состояние, заявила Зоя Вечеславовна. Она была даже как бы оскорблена. – Не может быть. Если вы знаете это о других, а вы своим поведением доказываете, что в самом деле знаете, то о себе вы должны знать непременно. Таково условие!

– Чье?

Зоя Вечеславовна злобно оскалилась.

– Не знаю, но уверена, что по-другому быть не может. В противном случае это несправедливо! Или должно быть убедительное, совершенно убедительное объяснение.

– Объяснение есть, Зоя Вечеславовна. Просто я проживу очень долго.

– Что значит – долго?

– До конца этого века. Правда. Доказательств хотите? Ну, я, например, знаю, что после той войны с Германией, что сейчас начинается, будет в сороковых годах еще одна. Победоносная. Знаю еще, что люди полетят...

– А про себя?

– Пожалуйста. У меня никогда не будет детей и, естественно, мужа. После войны, после второй германской войны я постригусь в монахи. Я знаю, как будут праздновать Рождество Спасителя. Двухтысячелетнее.

– А что будет потом, потом?!

Настя развела руками.

– Этого – нет, не знаю, как и того, когда умру.

Обогнув березовую рощу, тяжело вращая облепленными грязью колесами, коляска выкатила на прямую к деревне дорогу, и господин Бобровников, натянув вожжи, остановил лошадей. Виной тому была открывшаяся картина. Навстречу трусил белый жеребец с двумя седоками. Профессор неуклюже сидел впереди,

генерал сидел за спиной у него и мягко нахлестывал Боливара сложенным зонтиком. Увидев следователя со священником, Василий Васильевич остановил свое измученное транспортное средство и громко спросил:

– Куда вы, господа, станция там. Или вы тоже? А? Тоже, господа? – Генерал расхохотался.

Профессор отвернулся в сторону тусклых серо-зеленых далей. По его мертвенным щекам текли две неосознанные слезы.

– Господа, мы трясали и донимали этого Микулу Селяниновича по очереди, а потом и на пару. Никакого толку. Даже если он что-то знает, ничего нам не скажет. И вам не скажет. Будьте уверены вполне: допрос с пристрастием ничего не принесет, равно как приглашение исповедаться.

– Мы произведем обыск. Может статься, он что-то прячет.

– Что?! – вновь затряс баками генерал. – Письмо, которое он получил от Иоанна Богослова?

Несмотря на насмешки генерала и слезы профессора, мысль об обыске показалась Бобровникову дельной.

– До свидания, господа, – сухо сказал следователь, трогая.

– Прощайте. Зря вы, хотя – кто знает? А я вот намерен двигаться подальше от господина народа к госпоже мадере.

Зоя Вечеславовна, отвратительно хихикая, ушла в дальний и темный угол гостиной.

– Да у вас мания величия, милая. Да, да, не исключено, что мозг ваш воспален не менее моего. И помешались вы на, так сказать, семейной почве. Вас ведь никогда не считали полноценной родственницей? Скорее приживалочкой.

– Я Столешина, мадам.

– Да это пусть. Только ведь неплохо бы знать, от какого смысла и слова фамилия эта происходит. Судя по направлению ваших мыслей, вы считаете, что от «столетия», то бишь от века. На этом основании вы отмерили себе годков сотню. Разочарую – от «столешницы», от нее. Кто-то из дальних предков нашего генерал-аншефа Василия Васильевича был простым мастеровым, столяром. Столы у него выходили лучше всего.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я сажусь на кровати, медленно сгибаю руку. Окоchenение первых суток полностью прошло. Членам вернулась почти прежняя гибкость. Надо встать на ноги. Так или иначе, мне уже пора. Визит некрофила не причина, а всего лишь повод. Пальцы правой руки медленно освобождаются от бесполезного пистолета. Мне нечем его зарядить для нового залпа.

Теперь к двери. Походка выравнивается к пятому шагу. Дверь в коридор открыта. Переступаем порожек. Налево к лестнице. Верхняя ступенька самая скрипучая, но режиссер слишком шумно дышит, чтобы что-нибудь услышать. Медленно, но твердо ступая, я спускаюсь по лестнице, наблюдая за тем, что происходит внизу, в круге желтого света керосиновой лампы. Мне кажется, я должен быть полностью лишен каких бы то ни было чувств, но сейчас мне неприятно видеть, что это живое

животное делает с моим братом трупом. Я спускаюсь все ниже и ниже, совсем скоро я окажусь за спиной у этой потной, сладострастно дрожащей гадины. Я наклонюсь, возьму его за волосатую шею... Я успел только наклониться, какая-то тень по своему собственному почину спугнула мсье. Он замер и, не расставаясь с предметом своей страсти, обернулся. Могу себе представить, что он увидел. Наклонившегося к нему с вытянутыми руками мертвяка.

Смерть его была, к сожалению, мгновенна.

Я оттащил неприятное мне тело подальше в сторону, доктора накрыл остатками одежд. С этим покончено. Есть еще одно дело. Одновременно и нужное и доброе. Я поднялся в кабинет, достал лист бумаги и придвинул к себе ручку с чернильницей.

«Дорогая моя матушка Настасья Авдеевна!

Пишу Вам письмо мое прощальное, безрадостное. Окончилась жизнь моя на чужбинушке в городе под красивым названием. Где похоронят меня, точно мне неизвестно, главная печаль, что не в родной земле. Не ищите мою могилу, вам, пожалуй, не укажут, да еще наплетут всяких обо мне небылиц. Не верьте, ибо ни в чем, ежели разобраться, сын Ваш Ванечка не виноват, может, в одном лишь, что огорчил Вас безвременно и очень. Батюшке моему тоже кланяюсь, руку целую, потому что больно перед ним виноват, да и вообще глуп. Вот и все мое послание. Прощайте, мои дорогие».

Я взял второй лист бумаги и тут же составил второе послание.

«Уважаемый господин капитан!

Хочу предложить Вам дело, совершив которое, Вы навсегда смоете и с себя самого, и со всего рода Вашего то проклятие, что является предметом Вашей тоски. Спустя сто лет Штабс получит возможность дернуть за главную мировую струну.

Дело простое и нисколько не опасное. Вам надлежит немедленно выехать в Потсдам. Вы будете там утром. До завтрака Вам не удастся встретиться с Его Величеством, а вот после оного попытайтесь. Выясните, кому надо дать взятку, чтобы до Вильгельма дошло известие, будто в Ильве убита актриса Европа Н. Когда до него этот слух дойдет, он немедленно захочет Вас увидеть, и Вы ему скажете, что в ночь с третьего на четвертое июля актриса сия невероятная была убита одним сумасшедшим русским в своем доме на Великокняжеской улице. Нет, не говорите, что сумасшедшим, скажите, что русским агентом, специально прибывшим с этой целью из Парижа и маскировавшимся под мебельного мастера.

Если вы сделаете это, отпечаток Вашей руки навсегда останется на колесе мировой истории.

С замогильным приветом Иван Пригожий».

После этого я надел длинное белое пальто, принадлежавшее покойному доктору, повязал простреленную шею шарфом, положил оба конверта в карман и вышел на улицу. Проходя мимо почты, опустил письма в ящик. Рядом с почтой стояла гостиница «Золотой баран», принадлежавшая господину Саловону. Только сейчас я понял, от чего меня хотел предостеречь косноязычный трактирщик. Оказывается, в ночь перед приездом в Ильв мадам Евы я приснился ему в моем сегодняшнем виде. Я представлял собою труп с жуткою раной на шее. Так же, как и доктор, хозяин гостиницы связал это видение с появлением мадам. Он хотел мне помочь, нелепый старик, за что сражен ударом. Я подумал, могу ли я ему

чем-нибудь помочь сейчас? Наверяд ли. Кроме того, у меня не так много времени. Через час начнет светать.

Так, а чем же я ее убью? Ах да, имеется же еще одно шестиствольное чудище за шкафом в библиотеке. Запахнув поплотнее пальто, я двинулся вверх по улице.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

После отъезда генерала и ученого Фрол некоторое время сидел в задумчивости за столом, положив ладони на его голую поверхность. Что происходило в его душе – в таких потемках, царящих в избе, было не разглядеть. В состоянии этом пребывал он не так чтобы очень долго. Шумно вдруг вздохнул, стал на колени перед лампадою. Она горела так слабенько, что лик на иконе был не виден. Помолился тихо-тихо, шумно при этом кланяясь. После чего встал и быстро вышел во двор. Огляделся, отмерил три больших шага от угла избы по направлению к чахлой яблоне, нелепо торчащей из земли. Принес из сараюшки тяжелый заступ и вонзил в отмеченном месте в мокрую землю. Работал яростно, как для себя. Вскоре яма в половину его роста была готова, земляца-то рыхлая. Фрол вернулся в сени, снял с одной из кадок крышку и вынул оттуда немецкие часы, погладил пивовара по гладкой голове мозолистой ладонью.

Он первым сообразил: если стащить и припрятать этот музыкальный механизм с каминной полки в «розовой гостиной», можно спасти и доброго барина Афанасия Ивановича, и собственную душу. Грушенька, пусть земля ей будет пухом, и украла по его слезной просьбе эти часы.

Фрол услышал, что по улице едет кто-то. Выглянул в щелку, отворив дверь. Еще двое! Вовремя вырыта яма, вовремя! Коляска проследовала мимо в поисках человека, могущего указать двор Фрола-плотника.

Фрол выбежал из хаты, прижимая к груди фарфорового немца. Уложил его на дно ямы на мягкую земляцу, накрыл охапкою лучшей соломы. Быстро засыпал могилку.

Коляска возвращается.

Плотник отбросил заступ и пошел к колодцу мыть руки.

